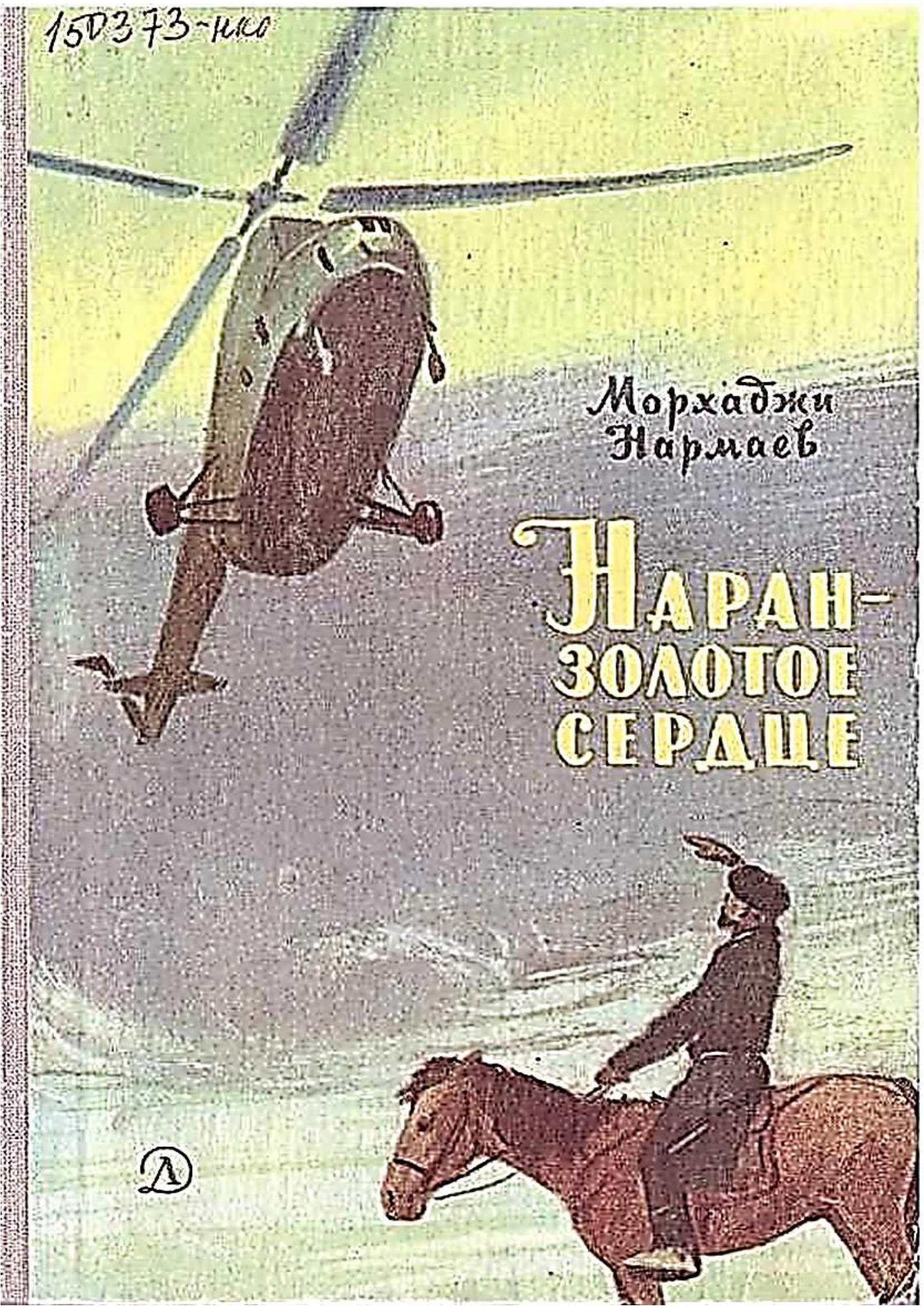
150373-ИКО



Морхаджи Нармаев

Наран-золотое сердце

Уважаемому
Моисею Осиповичу
на добрую память
от автора
М.Марков
21.XII.68

Морхаджи

Нармаев

НАРАН-ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ

Повесть

Перевод с калмыцкого
К. АЛТАЙСКИЙ

Издательство «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1968

С (Калм)
14 29

Морхаджи Нармаев — известный калмыцкий поэт и прозаик, заслуженный деятель науки, прекрасно знает и горячо любит Калмыкию с ее тысячелетней историей, любит ее народ, богатый родной язык, изумительный богатырский эпос, песни и сказки.

Из поэтических произведений М. Нармаева наибольшей известностью пользуется поэма «Полярная звезда» — о Ленине, о становлении Советской власти в Калмыкии.

О прошлом и настоящем родного народа писатель рассказал в своих повестях «Санджи», «Курсанты», «Молма», в рассказе «Пожар».

В повести «Наран — золотое сердце» М. Нармаев создал жизненно правдивый образ нашего современника калмыцкого гуртоправа, фронтовика, человека чистой совести и живой беспокойной мысли — Нарана Сарангова.

Перед читателем проходит жизнь представителей трех поколений семьи Нарана, своеобразный быт калмыцких гуртовщиков. М Нармаев увлеченно рисует суровую природу степной республики.

Автор правдиво вскрыл полную драматизма борьбу нового и старого, без риторики и нравоучений показал, как в наши дни побеждает и утверждается новая, коммунистическая мораль.

Рисунки Г. Юмагузина

МАЯК В СТЕПИ

Степь... Есть у тебя начало? Нет. Есть у тебя конец? Нет. Ты без начала и без конца. И кажешься ты такой не только приезжим, но и родившимся здесь коренным степнякам. Ты безбрежна; и там, на горизонте, где небо сливается с землей, пляшут зыбкие, похожие на морские волны миражи.

Родная моя, калмыцкая степь! Одно только небо больше тебя. Много километров проехал я по советской земле — в седлах коней, в вагонах поездов, в кабинах машин, пролетел на самолетах, — и нигде мне так легко не дышалось, как твоим воздухом! На твоих просторах возникали у меня необычные образы и острые, как клинки, мысли. Я знаю: не только радость, но и много горя приносила ты, степь, моему народу. И все-таки каждый калмык любит тебя, тоскует вдали от тебя.

Непривычному человеку, пожалуй, покажется, что ты, степь, однообразна, однотонна. Но это не так. Взглянешь в сторону восходящего солнца — будто огромная скатерть расстелена на неоглядном столе, и сквозь стеклянно-прозрачный воздух просматривается горизонт. На запад посмотришь степь другая. Там толпятся округлые увалы и курганы. С севера на юг вырастает возвышенность — и снова увалы, увалы. Как чертой, холмы делят степь на две части: восточную, где, синея, залегает Каспийская низменность, и западную, где тянутся Ергени — плоская, широкая возвышенность, берущая свое начало в середине России, у истока Волги.

Осеннее нежаркое солнце заливает травяной простор. Невольно ищут глаза человека хоть какие-нибудь признаки жизни. А вот и жизнь! На склоне кургана пасется стадо коров. Монументальны, статны, могучи взлелеянные степью животные. Вот отбившаяся от стада корова. Великолепный экземпляр! Увидел бы такую скульптор, непременно вылепил бы с нее статую — так пропорциональны ее формы. И похожих на псе коров большое стадо.

Они медленно переносят с места на место свои тучные, откормленные за лето тела и, опустив рогатые головы, лениво, неторопливо щиплют траву.

Это скот красно-лысой калмыцкой породы. Он завезен сюда более трех с половиной веков назад из Джунгарии — древней родины калмыков.

Ученые установили общность этой породы с индийским рогатым скотом — та же монументальность, тот же вес, то же высокое качество прослоенного жиром, так называемого мраморного мяса.

В приволжских, приманычских степях коровы калмыцком породы нагуливают до шестисот пятидесяти килограммов живого веса, а быки и того больше.

Впереди большого стада движется человек. Это, конечно, гуртоправ. Он заметил поведение коров и пытливо, прикрыв рукой глаза, смотрит на солнце. Дневное светило успело подняться на длину двух арканов. В лучах его нет силы, что обжигало летом, но даже и сейчас оно заметно припекает. И все же это настоящая осень. Небо холодно-голубое, прозрачное, высокое. Ни облачка на нем. Что заметил человек в далеком небе? Почему он пристально вглядывается в даль? А в голубизне появились две точки. Одна все ближе, ближе... Зоркие пастушьи глаза узнают желто-коричневого степного орла. Словно исполняя старинный калмыцкий танец, птица плавно машет могучими упругими крыльями, поворачивается влево, парит. Вот она совсем замерла и, будто обретя невесомость, неподвижно висит в воздухе. А выше орла, с севера на юг, протянулась серебряно-молочная полоса. Это пронеслась и исчезла другая птица. Была, и нет ее. Растворилась в голубой глубине. Гуртоправ улыбается: он знает, что след в лазури оставила алюминиевая птица — реактивный самолет, летящий быстрее песни. Где же орлу-степняку тягаться с такой птицей! А давно ли считалось, что на земле нет ничего выше верблюда, а в небе — выше орла? Вот-вот зашагает советский человек прямо в космос, как в собственный дом.

Но небо остается небом, земля -землей, где свои, земные законы. Гуртоправ внимательно осматривает коров, и в его глазах появляется досада. Что это они так лениво пасутся? Его не проведешь! Он видит, что травяной покров еще сочен. И травы он знает как свои пять пальцев.

Бетеге -трава, которую русские зовут типчаком, — длинными корнями глубоко ушла в землю и тянет оттуда сладкие целебные соки. Ее мохнатые кусты напоминают барашковые шапки. Не уступает бетеге и зултурган — по-русски прутняк. Эта осенняя трава гордо поднимается красными пушистыми стеблями и как будто бахвалится: подошла осень, мой черед красоваться!

А вон поднимает колоски зеленый житняк; от него коровы наливаются жиром. По склону стелются водянистые, сочные, низкорослые солянки. Эти

травы горько-солоноватые. Коронам от них, как человеку от селедки, и есть, и пить хочется.

В добрую осень стала съедобной, потеряла лишнюю горечь голубовато-зеленая полынь, и ковыль зазеленел вторично.

Осенние травы в соку, в силе —есть чем питаться скоту.

Извиваясь меж травинками, пробегает изумрудно-зеленая, словно парчовая, ящерица. Не последняя ли в этом году? Гуртоправ вспоминает, как он в детстве придавливал ногой хвост ящерицы: хитрушка убегала, легко оставляя оторванный хвост, и он долго еще шевелился, извивался. Ящерица юркнула в норку. А вот желто-пестрого хозяина степи — суслика — уже не видно. Отъелся, накопил жиру и, закопавшись в свою теплую, уютную норку, залег до весны.

Скотовод снова глядит на солнце. Он без часов знает — пришло время вести коров на водопой. Рогатые наелись всю звездную ночь, все голубое утро, пора их напоить, дать им отдохнуть. Он поднимается на макушку невысокого кургана, громко щелкает бичом. Звук похож на выстрел. Коровы шевелят ушами и послушно, степенно идут к югу, где в балке их ждет холодная как лед, чистая колодезная вода.

Сверху доносится резкий, тревожащий звук, похожий на металлическое стрекотание огромного кузнечика. Гуртоправ поворачивает голову и видит вертолет. Похожая на насекомое машина делает разворот и опускается на землю.

«Кто же это прилетел? — размышляет гуртоправ. — Наверное, секретарь обкома. На вертолетах путешествуют только руководители».

Другой бы на его месте заволновался, поспешил навстречу начальству, а этот — нет! Остается на кургане.

Гуртоправ пристально смотрит в сторону стоянки. Она видна хорошо. Это небольшая деревянная будка, поставленная на крестьянскую телегу, а вблизи — баз, сколоченный из неотесанных горбылей. Вроде бы и смотреть не на что! Но сейчас на обычно безлюдной стоянке небывалое многолюдье. Машины-черные, зеленые, цвета речного песка... Одни стоят возле кошары, другие движутся по степи. И люди, много людей. Предупрежденный гуртоправ знал, что сегодня должны приехать люди, но — честное слово! — он не ожидал, что прибудет так много машин и людей. Даже вертолет приземлился. Пастух смущается, трет подбородок, словно его ужалил овод... Он жилист, коренаст, небольшого роста: кости и мускулы, ни капли жира. От верховой езды, как у каждого конника, ноги у него выгнуты, но стоят на земле крепко. Лицо и шея покрыты ровным золотисто-коричневым загаром. Высокий лоб прорезан двумя морщинами. На висках — тусклое серебро, а черные, аккуратно

подстриженные усы напоминают ласточкины крылья. Зоркие глаза степняка были когда-то темно-карими, теперь выцвели, приобрели светло-ореховый оттенок. Сколько ему лет? Не скажешь, что меньше пятидесяти, но и больше шестидесяти не дашь. Недавно исполнилось ему пятьдесят пять. Калмыки говорят: «Есть на свете шестьдесят восемь мелодий радостей и сто восемь мелодий печалей». Всякие мелодии довелось слышать этому нестареющему человеку. И веселые к скорбные...

— Ха! Ха! — властно кричит пастух.

Вишнево-красная корова, пробиравшаяся к люцерне, мотает гордой головой, приостанавливается, потом нехотя поворачивается — ослушаться она не смеет. Гуртоправ улыбается, и тогда сверкают удивительно белые и ровные зубы. Он снимает широкополую соломенную шляпу и сразу молодеет — теперь ему по виду пятидесяти не дашь. На нем серый парусиновый пиджак и хромовые сапоги. Имя его — Наран. Одни называют его дядя Наран, другие величают Нараном Саранговичем. Совхоз «Степь», где он работает старшим гуртоправом, занимает в республике не последнее место.

Наран немного растерян. Он наполнен ощущением радости и гордости, что к нему съехались люди со всех совхозов калмыцкой степи. И тревогой — не ударить бы в грязь лицом встретить приезжих с достоинством и радушием.

Директор совхоза раз пять предупреждал:

Смотрите, Наран... Сарангович, не подведите. Будете передавать богатый опыт нашего совхоза гостям со всей Калмыкии. Вы, так сказать, не просто старший гуртоправ, вы маяк! Это, дорогой мой, ответственное дело!

Наран усмехается. Давно, еще в юности, он видел маяк. На самом берегу моря, на скале, стояла башня, а в ней помещался огромный фонарь. От него по морю стелилась золотая дорожка. Видный издалека, огонь маяка предупреждал суда об опасности, показывал верный курс. Его, Нарана, называют степным маяком, и, значит, должен он осветить трудовую дорогу таким, как и он, гуртоправам. Конечно, есть среди них молодые, неопытные, — им, пожалуй, не грех поучиться у Нарана. Но есть и старые, проевшие зубы на отгонном скотоводстве. Со стариками надо ухо держать востро — от них общими словами не отделаешься. Да и каверзных вопросов не оберешься. Вот почему Наран ушел в степь со стадом, а не стал ждать гостей на стоянке. Здесь, в степной тишине, в травяном царстве, мыслям просторно и слова ложатся одно к одному, как у печника кирпичи.

Конечно, Наран опытен в своем деле, но все же предстоящая беседа заботит его. Какие слова сказать своим однодельцам? А что, если выложить все начистоту и признаться, что дело властно требует от человека отдавать ему всю душу без остатка? И нет никаких производственных секретов. Если ты пастух

— знай каждую из ста пятидесяти коров, как отец своих дочек. И не только знай, но и люби. Они лишь кажутся одинаковыми. А вглядись позорче — отличишь каждую. Одна смирна, покладиста, другая привередлива, капризна, а третья и просто озорница.

Если говорить, по совести, не так-то просто вырастить и сохранить здоровым такое стадо, как у Нарана. Это не рядовое стадо, откуда ежегодно выбраковываются на убой десятки животных. Нет! У него племенное, чистопородное стадо. Элита!

Родоначальник этого стада — знаменитый, известный от Волги до Маныча и от Маныча до Дона племенной бык Алмаз.

Огромный, круторогий, непомерной силы и живучести, он весил в лучшую свою пору тысячу сто килограммов!

Телки и бычки стада Нарана — это все прямое потомство Алмаза. Ни одной беспородной коровы, ни одного бычка, не внесенного в родословную тетрадь, нет у Нарана.

С первого дня, как принял под свое начало гурт, он прилагал много усилий по улучшению породистости стада, твердо веря в основное правило: от плохого семени не жди доброго племени.

Наран несколько месяцев воевал, чтобы заполучить в свой гурт сына Алмаза — Буяна, костистого, приземистого быка- крепыша.

А теперь в гурте подрастает и родной внук Алмаза — длинный вишнево-красный красавец Дождик. Люди удивляются, что Наран собственноручно купает бычка, следит за его рационом, регулярно привозит к нему ветеринара. Еще бы! Такой бык, как Дождик, стоит сотни беспородных быков!..

Так, разговаривая сам с собой, Наран медленно шагает к стоянке. Думы укорачивают расстояние. Навстречу идут приезжие. Они издали приветствуют его, но он замечает, что гости, больше, чем им самим, заняты его прославленным стадом.

Один с нескрываемой завистью кивает на скот:

— Под каждой коровой теленок! Вот это да!

А другой поддакивает:

— А телята-то какие! Ровные, упитанные!

Особое восхищение вызывает бычок Дождик. Пожалуй, вырастит Наран второго Алмаза!

Гости пожимают Нарану руку; на душе у старика тепло. Скупые слова одобрения в устах людей, знающих дело, дороже многословных похвал непонимающих.

Вон идут еще трое: один впереди, двое, с почтительностью, — сзади. Сразу видно — шествует начальство. И повадка начальническая. Шаги уверенные,

спокойные, чуть-чуть замедленные. Голова привычно поднята высоко. Знает — и перечить ему никто не посмеет, и спорить никто не возьмется. Что скажет, так тому и быть. Наран давно знает его. В тридцатых годах вместе с ним сколачивал колхозы, оба председательствовали в них. Тогда он был куда проще. В то время Наран задержался в колхозе, а его однокашника выдвинули председателем райисполкома. Потом он исчез с горизонта. Оказалось, учился и окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Вернулся и пошел в гору. Много с тех пор в Маныче воды утекло. Сейчас он секретарь обкома партии. А сзади — худощавый, высокий, узкоплечий - секретарь райкома. И он хорошо известен Нарану: до войны больше года бок о бок работали на машинно-тракторной станции — Наран директором, а тот начальником политотдела. Левее его шагает еще молодой, но уже полный, рыхлый, рано раздобревший директор совхоза «Степь» Салькан Цеденов. Люди давно приметил его неудержимую говорливость. Любого заговорит!

Подойдя к Нарану, Салькан похлопывает его пухлой рукой по плечу и не говорит, а кричит, словно перед ним одни глухие:

— Вот, знакомьтесь! Это наш знаменитый гуртоправ Наран...—Он запинается, хмурится и вполголоса осведомляется: — Забыл, понимаете, как ваше отчество.

Гости переглядываются. Наран не скрывает обиды:

— Нараном Саранговичем зовут меня.

Секретарь обкома подходит вплотную и с неожиданной сердечностью говорит:

— Менде[1], Наран! — и заключает его в объятия.

— Не задуши! — отзывается Наран. Ему приятно, что секретарь обкома не забыл его и держится на дружеской ноге. — Ты так раздался в плечах — не узнать!

Секретарь улыбается.

— Не рост, а толщина. Это не от котлет, а от лет. Ну я рад, Наран, что ты отлично работаешь. Гордимся тобой!

Еще раз осмотрев скот, гости собираются у будки гуртоправа.

Секретарь обкома замечает:

— Самое лучшее место для совещаний — степь, а самый лучший потолок — открытое небо.

Он усаживается на траву. Все следуют его примеру. Дальше всех от секретаря обкома устраивается управляющий формой Леонид Павлов, пряча от начальства багровую физиономию пьяницы.

[1]Менде — здравствуй.

Успевший вспотеть, Цеденов вынимает из кармана белоснежный платок и вытирает жирное лицо.

— Дорогие мои друзья, соратники и товарищи! Скороговоркой с места в карьер начинает он. Знатные гуртоправы нашей республики! Партийные, советские, сельскохозяйственные работники! Позвольте мне от имени и по поручению обкома партии и Министерства сельского хозяйства поделиться опытом нашего знатного гуртоправа.

И пошел, и пошел!..

Слова Цеденова журчат, как потоки после сильного ливня, — попробуй останови или заглуши их!

Если верить речам Цеденова, то Наран работает все двадцать четыре часа в сутки, не знает ни отдыха, ни сна. О помощниках Нарана ни слова, будто бригады и не существует, а все вершит одни гуртоправ. И как! По последнему слову науки. Создается впечатление, что гуртоправ каждый день корпит над толстыми научными томами и знает никак не меньше любого академика. А его работа в степи — сплошные научные эксперименты и опыты. Слушатели переглядываются. Секретарь обкома сидит, опустив глаза. Нарану стыдно.

«Откуда берутся такие болтуны? —с горечью думает он. — Растут среди нас. Учатся в советских школах. Кончают институты. И вот на тебе! Водолей, а не человек. Пулемет, только вместо пуль пустые слова. Как это в пословице молвится? «Море речей, а работы - ручей». И ведь что удивительно! О трудном и увлекательном деле директор, не говорит совсем, хотя налицо много недостатков. В совхозе двадцать три гурта, и только в трех из них ежегодно каждая корова приносит теленка, а в двадцати гуртах половина коров ходит яловыми, не дает приплода. Вот и скажи об этом! Попробуй найти причину зла. Посоветуйся с народом...»

Так думает гуртоправ, а неутомимый Цеденов никак не может остановиться.

— Пусть сам гуртоправ скажет...— робко вставляет кто-то.

Салькан резко поворачивается, и в глазах его — непритворное изумление и возмущение.

— Так я же и передаю вам опыт нашего прославленного гуртоправа!

И продолжает барабанить с еще большим запалом.

«Не останови его, проговорит до вечера», — думает Наран и замечает, как секретарь обкома срывает стебелек, бьет им по руке секретаря райкома. Тот подставляет ухо, секретарь обкома что-то шепчет.

Слышится насмешливый голос секретаря райкома: — Когда же заговорит сам гуртоправ?

Цеденов обрывает речь на полуслове, и Нарану кажется, что вся степь облегченно вздыхает.

Оратор обводит глазами гостей и выпаливает:

— Правильно, правильно! Когда же мы услышим Нарана Саранговича? Давайте, дорогой, поделитесь с товарищами достижениями. Не держите драгоценный опыт под спудом!

Наран начинает сидя:

— Никакой драгоценности не держу я под спудом. Бригада честно трудится, вот и все сокровище...

Гости узнают о правилах, какими живет бригада: досыта кормит скот, поит вовремя, заботится о молодняке...

Мы знаем в отдельности каждую корову, каждого теленка, продолжает Наран. — Несколько лет мы добивались, чтобы стадо сделать чистопородным. Правдами и неправдами добились этого. Следим за упитанностью. Чуть животное начинает худеть, бьем тревогу, идем к зоотехнику, к ветеринару. Если любая бригада вложит в дело побольше сил, результаты будут не хуже.

Нарану очень хочется высмеять бахвальство директора, но он сдерживается. Такого не переучишь. Да и жаль срамить его перед гостями. Как-никак свой директор.

Сыплются реплики:

— Правильно говорит старик.

— От плохого семени не жди доброго племени.

— Если быки худы, как борзые, хороших телят не жди. — Бригада должна работать дружно, слаженно...

Слышатся шутки, смех. Это уже не совещание, а дружеская беседа. Нарана забрасывают вопросами, он коротко отвечает. Чаще всего с ним соглашаются. Но он не в обиде, если иной и поспорит. Спорить даже интереснее, чем просто обмениваться мнениями. По совести говоря, Нарану приятнее учиться, чем учить. Разговор начинает затихать. Секретарь обкома заключает. Говорит он кратко, просто и веско. Он отмечает, что бригада Нарана Сарангова — пример всем другим бригадам. Ежегодно от каждой коровы она выращивает по теленку. Если все бригады в Калмыкии подтянуть до уровня бригады Сарангова, то республика получит добавочно горы мяса и кожи, реки молока, курганы масла и сыра.

Подумав, секретарь добавляет:

Кроме яловости коров, вот что нас всех должно озаботить. Пока телята в гуртах, при коровах, на них любо-дорого смотреть, а передадут телят в другую бригаду — глядишь, привес не тот. Молодняк хиреет. Вы это знаете лучше меня. Телята при отбивке их от коров весят в среднем по двести килограммов. Зимой они, как водится, растут. К весне должны бы прибавить в весе, а начнем взвешивать — иной сто восемьдесят килограммов, а иной и сто пятьдесят едва

вытягивает. Это же вопиющая несуразность: выросший теленок весит меньше того, что весил. Сколько мяса теряет республика! Да еще похудание, как мне подсказали специалисты, влияет и на дальнейшее развитие животного. Куда ни кинь — голый убыток!.. Вы бы, Наран Сарангович, подумали об этом!

Вот бы, где выступить Нарану со своими мыслями последних двух лет, вот где выложить свое предложение, свои мечтания! Но не в меру стеснителен он. Усвоил русскую пословицу: «Семь раз отмерь...» — и сделался тугодумом.

Секретарь обкома, открыв портфель, вынимает красную папку с золотым тиснением. Это Почетная грамота Верховного Совета республики. Все шумно поднимаются. Секретарь подходит к гуртоправу и торжественно вручает грамоту. Солнечный луч горит на золоте букв.

— Награду заслужил не я одни, а вся бригада! — говорит Наран и передает грамоту в руки младшего помощника Анджи.

Видя, что гости вот-вот начнут собираться к отъезду, Цеденов поднимает руку:

— Дорогие гости! Мы не оценим по-настоящему труды и мудрость дорогого Нарана... э-э... если не посмотрим его новый колодец Он близко, вот за этим холмом. Пойдемте туда. Скажу откровенно: ни минуты не жалею, что помогал в этом деле Нарану... э... Сангаевичу... Саранговичу.

Наран опускает глаза.

«Ах. Цеденов, Цеденов, — думает он, — откуда взялось в тебе лицемерие? Ведь если кто и тормозил дело, так только ты. А теперь себя в помощники записываешь...»

Салькан Цеденов ведет гостей к кордону. Наран идет тоже, и перед глазами его встает вся картина борьбы за воду.

Совсем недавно, в прошлом году, коровы Нарана, мотая головами, пили солоноватую, с горчинкой, пахнущую гнилью и тухлым яйцом воду из старого колодца.

Много крови попортила Нарану эта нездоровая, невкусная вода.

Как водопой - так и мучение. Недовольное мычание коров старший гуртоправ воспринимал как жалобу на плохую воду. А поносы у телят? Тоже от плохой воды. Ветеринар так и говорил: пока телята будут пить эту проклятую воду, поносов не избежать.

Наран потерял покой и, объезжая, а чаще обходя пешком вокруг десятки километров, твердил:

— Найду чистую воду!

Старики утверждали в один голос:

— Пресная вода должна быть поблизости! Когда-то тут был чистый колодец.

Пришел Гитлер, расковырял землю минами, обезобразил степь воронками, как лицо оспинками, засыпал колодцы. Все заросло травой и тамариском. Всю весну, все лето искал Наран воду.

В конце августа, идя по глубокой балке, вспугнул двух сайгаков.

Осмотрел место —трава свежее, гуще, зеленее, чем вокруг. Припал к земле вдохнул в себя свежесть, влажность.

— Вода! — закричал Наран и криком своим поднял из травы стрепета.

В тот же день приехал сюда на гнедухе, прихватив железную лопату.

Начал копать. Вначале земля была сырой, черной, потом суше, суше... Затем показался сухой, как порох, песок.

Наран упал духом: «Ошибка!» Но копать продолжал всю ночь, пока не выбился из сил. Утром поскакал к Цеденову.

— Воду нашел! Дай двух рабочих. До зимы новый колодец будет.

Засмеялся Цеденов, привел поговорку о журавле в небе и синице в руках.

Все рабочие ремонтируют существующие колодцы. Это — синицы, а твой, Наран, колодец — это журавль в небе.

С тем и расстались.

Полмесяца копал Наран колодец. Гурт нельзя бросить — копал в часы отдыха. Лопата плохая, грунт трудный, силы стариковские. Много ли выкопаешь?

Чем глубже уходил в землю ствол колодца, тем труднее было вытаскивать на-гора землю.

Еще три раза ездил к Цеденову, но тот упрямо твердил о журавле и синице и в помощи отказывал.

В сентябре на глубине пяти с половиной метров появилась глина. Копать стало еще труднее.

Но упрямый старик не сдавался.

Особенно трудной была последняя ночь. Пошел дождь. Можно бы, конечно, сверху прикрыть колодец досками, но для этого надо было лезть вверх. Махнул рукой. Копал под дождем. Выбился из сил, бросил заступ. Сел на взрыхленную глину. Рука нащупала что-то влажное.

Наран взглянул вверх. Крошево дождя падало в колодец отвесно.

«Дождь намочил глину», — устало подумал Наран, но тут же приподнялся: ему показалось, что рядом бежит струйка. С трудом зажег спичку. Так и есть — струйка! Живая, беспокойная. Наран схватил заступ и с колотящимся сердцем начал копать. Теперь сомнения не было: это не дождевая, а грунтовая вода! Наран руками сделал лунку. Вскоре туда набежала вода. Трясущимися руками он взял пригоршню и хлебнул. Пресная! Холодная! Чистая!

Нарану захотелось петь, кричать, плясать!

Он расширил лунку, и когда она с верхом наполнилась открытой им, Нараном, сладкой водой, он наполнил ею солдатскую фляжку.

С трудом выбрался из колодца и, не заглянув в стан, поскакал к Цеденову.

— Нате, — закричал он, протягивая флягу директору, — пробуйте! Это вода из нового колодца!

Цеденов попробовал. Родниковая, сладкая, чистая вода! Салькан не надо было учить. Он знал, что такое новый колодец пресной воды для чистопородного гурта.

Тут же было наряжено двое рабочих. Через неделю новый колодец имел сруб, корыто и насос с двигателем. Уже прошлой осенью гурт Нарана блаженствовал, утоляя жажду пресной, чистой водой.

...Гости идут к колодцу.

Возле колодца хлопочет Улюмджи. Чихает движок, работает насос.

Колодезная серебряно-белая вода наполняет новенькое корыто.

Коровы опускают морды и медленно, с большой охотой пьют воду; капли, искрясь на солнце, стекают с их губ.

Напившись, коровы степенно отходят в сторону, занимая тырло — привычное место отдыха вблизи база.

Вот, — хвастается Салькан Цеденов, — учитесь, как надо заботиться о стаде! Не вода — нарзан! Такую воду в Элисте можно по пятаку за стакан продавать.

Нарану стыдно взглянуть в глаза директору: четыре раза просил он помощи у Цеденова, и четырежды тот, посмеиваясь, отказывал. А теперь вот хвастается, словно это его личное достижение...

Гости, все до одного, даже секретарь обкома, пробуют воду. Отменная вода! Молодец, водоискатель Наран! По просьбе гостей приходится ему рассказать историю открытия колодца. Цокают языком гости. Хвалят за упорство. Завидуют. На этом кончается совещание в степи. Улетает на вертолете секретарь обкома. Одна за другой уезжают «Волги» и «Москвичи».

Позже всех удаляется чей-то «Запорожец».

Наран еще долго не может унять волнение. Он говорит помощникам:

— Ну вот, юноши, ты, Улюмджи, и ты, Анджа, ответственность еще больше выросла. Работать надо так, чтобы собаки на нас не лаяли и люди пальцами не показывали.

Понимаем! — отвечают джигиты. Даже Улюмджи на этот раз не отмалчивается.

А день идет своим чередом. Бригада пьет джомбо[1]. Пора поить скот и второй раз гнать его на пастбище. Улюмджи с ведром идет к колодцу. Анджа вилами добавляет сено быкам. Наран начинает стряпать. Острый нож быстро ходит в его руке, кромсая парное мясо на ровные ломти. Кожура сползает с картофеля тонкой спиралькой. Головки лука очищаются от розово-желтой шелухи, становятся белыми блестящими шариками. А недавно разожженный очаг пылает желтым пламени ставь скорее казан, и закипит махан-шулюн[2], щекоча ноздри вкуснейшим запахом!

Стряпая, Наран одним глазом следит, как Анджа орудует вилами. Тонкий стан парня согнут в три погибели; сила есть, а сноровки недостает. Надо поучить паренька.

Андже Дорджиеву без малого семнадцать лет. Он невысок, бел лицом, а талия у него узкая, как у девушки. Он закончил восемь классов школы и пошел работать в гурт. Отец его — совхозный кузнец, старый друг Нарана — спокоен: парень попал в хорошие руки. А где же Улюмджи? Так и есть! Он уже спит в тени под телегой. И поза привычная, любимая. Ноги упираются в ось телеги. Пусть поспит — скоро его черед пасти гурт.

Наран следит, как коровы, напившись из корыт, идут на пастбище по своей тени — на северо-восток.

Просыпается Улюмджи так же быстро, как и заснул. Спросонья идет к колодцу, выливает на себя ведро воды, отряхивается, на скорую руку ест и, не сказав ни слова, уходит за стадом.

Останешься со скотом! — роняет Наран и, оседлав гнедую кобылу, по-юношески легко вскакивает в седло.

Длинноногий жеребенок, по кличке Игрун, заливисто ржет и пляшет возле матери, словно понимает, что ему предстоит встреча с юными друзьями. Наран направляет гнедуху в сторону совхоза.

[1] Джомбо — калмыцкий чай.

[2] Махан-шулюн — суп с мясом.

ТАЙНА ГОРЫ БОГДО-УУЛА

Степь, степь!.. Такая она древняя и такая каждый день юная! Ее зеленовато-бурый осенний наряд имеет множество оттенков и переливов. Тысячи едва уловимых запахов сливаются в один крепкий целебный аромат.

Нарану посчастливилось видеть и высокие горы, и дремучие леса, и безбрежное море. Но ничего краше, привольнее степи он не знает.

«Степь — любовь моя! — думает Наран, покачиваясь в седле. — Какими словами сказать о тебе? У самых лучших джангарчи [1] нет таких драгоценных слов, чтобы выразить твое величие, красоту и необъятность. Ты и орлиная, и сайгачья, и журавлиная! А еще ты — конская, коровья, овечья, верблюжья! Четыре вида скота кормишь ты и поишь на благо человека. И человек платит тебе за это сыновней любовью!»

Лицо Нарана светлеет; кажется, даже морщины на лбу разглаживаются. Мысли его обращаются к внучатам. Как они там? Здоровы ли? Маленькое существо легко ранимо, подвержено хворям, несчастным случаям. Не догляди бабушка — и попал ребенок в беду...

Вскоре показываются шиферные крыши совхозного поселка.

Долгие века калмыки кочевали, и домом их была пропахшая дымом войлочная кибитка. Русский поэт Пушкин, воспевший в пленительных стихах калмычку, приезжая в прошлом веке, посетил кибитку, пил соленый, забеленный молоком калмыцкий чай. А где они теперь, кибитки? Встретишь их разве только в музее. Кочевники-калмыки при Советской власти стали оседлым народом. Живут в хороших домах.

[1]Джангарчи — исполнитель калмыцкого эпоса «Джангар».

А дом Нарана и в самом деле хорош: белый, просторный, покрытый шифером.

— Дедушка приехал! — кричит мальчик.

— Не твой дедушка, мой! — спорит с ним девочка.

Но пререкаться им некогда. Надо бежать навстречу дедушке и Игруну. Брат и сестра дружат с жеребенком. Даже кличку Игрун придумали. Он действительно игрун: так же балуется, как ребятишки. На потеху им прыгает через канаву, берет теплыми, мягкими губами их уши, тонко ржет, играет с ними в прятки. Многие этому не верят: как это, жеребенок — и вдруг играет в прятки? А он играет, да еще как увлеченно!

Мальчик заводит его под навес и говорит:

— Постой, Игрун, пока мы спрячемся, а потом ищи.

Жеребенок терпеливо ждет, пока не зазвенит колокольчик. Услышав звонок, он стремглав выскакивает, осматривается и начинает поиск. Ищет старательно, вбирая ноздрями воздух, брыкаясь от нетерпения. Иногда ребята прячутся на чердаке, куда жеребенку, ясное дело, не забраться. Обыскав все известные ему тайники и догадавшись, что дети на чердаке, он начинает вскидывать длинные ноги и выразительно ржать. Ребята хохочут и быстро скатываются с чердака.

Мальчик — его звать Кевлюн— ждет не дождется, когда Игрун подрастет и его можно будет седлать. Дедушка дважды брал Кевлюна на конские скачки возле Элисты. Мальчуган твердо решил объездить Игруна и взять на скачках первый приз.

Дети бегут к гуртоправу, а тот, завидев их, широко улыбается, и морщинки лучами расходятся по обожженному солнцем лицу. Кевлюн старше Наташи, и ему ничего не стоит обогнать ее. Но, как всегда, мальчишка умышленно отстает. Наран соскакивает с гнедухи, подбрасывает поводок на локоть и успевает подхватить раскрасневшуюся Наташу. Она трется пылающей щекой о шершавую щеку деда. А Кевлюн будущий мужчина — не признаёт этих телячьих нежностей. Он знает, что конь — крыло мужчины, и, поздоровавшись с дедом, хватает стремя. Еще недавно Нарану приходилось подсаживать внука, чтобы тот добрался до седла. Теперь мальчишка карабкается без его помощи. И дед — в который уж раз! — приводит калмыцкое присловье: «Ноги достигли стремени, а руки у луки седла». Кевлюн знает, что так говорят только о взрослых. А чем он, скажите, не взрослый? В одно мгновение взбирается он на седло и хватается за гриву. Правда, ноги его еще коротки для стремян, но стремена можно, в крайнем случае, подтянуть.

Дед сажает Наташу впереди внука. Девочка визжит, качается из стороны в сторону. Вот-вот упадет...

— Что ты, Наташка, прыгаешь, как тушканчик? — по-взрослому урезонивает ее брат. — Хочешь нос расквасить?

У шалуньи Наташки запоминающаяся внешность. Лицо круглое, как маленькая луна. Глаза черные и блестящие, словно пуговицы, а волосы соломенного цвета. Почему же маленькая калмычка носит русское имя? Пять лет назад в доме Саранчовых ночевала русская учительница Наталья Андреевна. В ту ночь и родилась резвая калмычка. Ее в честь гостьи назвали Натальей. Учительница уже не первый год пишет девочке письма, торопит ее расти и поскорее сесть за букварь. А ответы шлет Наталье Андреевне за дочку мать. Когда Наташа научится, она прочтет груду писем. То-то будет радость!

Наран подводит гнедуху к крыльцу дома. Жеребенок, явно ревнующий ребят к лошади, уморительно прыгает вбок и от радости громко ржет. Кевлюн легко спрыгивает с лошади и — не выдерживает: детские руки охватывают ноги деда, упрямый мальчишеский лоб трется о рукав Нарана. Как же вкусно пахнет от деда травой, костровым дымом, степью!

На крыльце появляется Саглар — жена Нарана. У нее седые, как ковыль, волосы, добрые карие глаза, а лицо смугло-розовое от загара.

— Эй, мелюзга! — кричит она сердито. — Дайте дедушке отдышаться!

Но никто не верит, что она сердится. Улыбается Наран смеется Кевлюн, хохочет Наташка. Даже Игрун и тот присоединяет к ним свой звонкий голосок.

Наран берет на руки Наташку, подхватывает Кевлюна и идет к жене, а она уже сменила гнев на милость и тоже улыбается тепло и немного растерянно.

Балуешь ты их, Наран, на свою голову. Вырастут неженками.

Но и это говорится не всерьез. Так уж принято у калмыцких бабушек поучать!

Наран, подражая жене, напускает на себя строгость:

— А ну, малыши, марш кормить лошадей!

Дети переглядываются. С гнедухой легко. Она смирно стоит и ждет, что ее покормят. А вот Игрун!.. Он все понимает, этот светло-гнедой, с белыми чулками на всех четырех ногах, бархатисто мягким хвостом колбаской, жизнерадостный жеребенок. Кевлюна кажется, что глаза Игруна говорят:

А ну-ка, догоняйте меня! Так я вам и дался!»

Мальчик подкрадывается к жеребенку, но тот, разгадав маневр, взвивается на дыбки и несется в сторону. Остается ловить! Кевлюн и Наташка пускаются за Игруном. В руках у девочки маленький недоуздок. Начинается погоня — веселая степная игра, требующая немало сил и сноровки. Конечно, Игрун мог бы удрать в степь — и ищи-свищи его! Но он и сам не прочь поиграть с юными друзьями, да и хрусткий овес, припасенный для него в торбе, то же, что для ребят мороженое. Отбежав немного, жеребенок останавливается и озорно бьет

маленьким копытцем передней ноги, словно приглашая: «А ну, герои, догоните!»

Ребята заходят с двух сторон. Это озадачивает жеребенка. Он смотрит поочередно то на мальчика, то на девочку, не зная, кто бросится первым. А тут еще несчастный случай! Наташка спотыкается, падает и громко плачет. Игрун стремглав бросается к девочке. Этим пользуется предприимчивый Кевлюн. Он в два прыжка настигает Игруна и хватает его за короткую гриву. Наташка прекращает рев, вскакивает и накидывает недоуздок на жеребенка. Не будь следов слез, можно было бы подумать, что девчонка инсценировала оплошность, чтобы заманить доверчивого четвероногого дружка. Впрочем, слезы быстро высыхают. На голове Игруна торба с овсом. Расседланной гнедухе задается душистое, как цейлонский чай, свежее сено.

Наран наблюдает за всем этим, сидя на скамейке. Во рту у него трубка. Он искусно пускает дым колечками — одно колечко, другое, третье...

Саглар—дома. У нее хозяйские заботы — напоить-накормить мужа, да не как-нибудь, а повкуснее. Какой у табунщика и гуртоправа обед в степи? Сегодня шулюн, завтра шулюн...

Управившись с лошадью и жеребенком, внуки опускаются

на травку около деда, а за совхозным поселком, за горой Богдо-уула садится солнце. Нет ничего в степи красивее заката! Приближаясь к горизонту, раскаленное солнце делается огромным, золото-вишневым, и лучей у него уже не видно. К фиолетово-черной черте горизонта опускается пылающий шар, и от его огня облака приобретают фантастическую расцветку. Можно подумать, что исполин-художник с огромной палитры взял эти светящиеся, горячие, неправдоподобно яркие краски и расцветил ими облака. Тут и алое золото, и оранжевое, и лиловое, и зеленое... Краски такие, что и названия не подыщешь: оранжевое переходит в желтое, и зеленое становится лимонным.

— Мы сегодня были на Богдо, — хвалится Кевлюн, смотря на зарево заката.

— Одни? — тревожится дед.

— Нет, с ребятами.

— А учитель был?

— Не было учителя. В школе вышел спор, вот мы и пошли. — О чем же вы, суслики, спорили? — усмехается дед.

— Полкласса говорит: Богдо-уула — одинаковая. А другие полкласса спорят: нет, у горы одна половина белая, а другая красная. Долго спорили, чуть не подрались. Потом решили пойти. Ну и узнали, а вот объяснить не можем.

— Об этом, дети, рассказывает древняя калмыцкая легенда.

Ребят сахаром не корми, дай послушать легенду или сказку. Дед знает их множество, и все они интересные. Наташка, юркая, как ящерица, сразу

перебирается к деду на колени. Кевлюн держится за дедову ногу. Глядя на заходящее солнце, Наран говорит тихо, немного нараспев, как старый джангарчи:

— ...Давно это было. Покинув Джунгарию, предки-калмыки шли целым народом на запад, в Россию, в приволжские, щедрые травами степи.

Не дни и не месяцы, долгие годы шли люди с отарами и табунами. У рек и озер себе отдых давали, кибитки из войлока наскоро ставя.

Пылали костры, пар белел над котлами. Доили кобыл и верблюдиц. А ночью отряды дозорные в степь выезжали.

Когда же трава вся скотом поедалась, снимались кибитки и дальше на запад шли праотцы наши и лето и зиму.

Трудны были зимы. Ревели бураны. Скот, снег разгребая копытами, травы искал и, случалось, от голода гиб. И костры в лютый холод, бывало, не грели.

Сто самых испытанных сильных батыров несли на плечах, каждый очередь зная, огромную гору, священную гору, в народе Богдо-уула ее звали.

И жило поверье в народе калмыцком, что гору Богдо-уула можно было нести только храбрым, правдивым и честным.

Ни вор, ни разбойник, ни лжец, ни убийца к священной горе подходить не решались. И так приключилось в прекрасное утро, когда солнце встало, и птицы с небес серебром лили песни, и росы блестели на алых тюльпанах.

К священной горе подошли два батыра. Один, тот кто с юга, легко гору сдвинул, взвалил свою часть на могучие плечи и ждет, чтоб другой то же с севера сделал.

А тот, приподняв свою часть до колена, не может осилить привычную тяжесть, не в силах поднять часть горы, да и только!

«Ты в чем провинился?» — спросили калмыка.

«Ни в чем не повинен», — ответил тот дерзко.

«Скажи, в чем повинен?» — калмыка спросили.

«Вины за собой я не знаю», — ответил степняк, а лицо у него потемнело.

И третий вопрос прозвучал уже грозно:

«Признайся в вине, если жаждешь прощенья».

«Я, люди, невинен!» — ответил обманщик.

И чудо случилось. Гора оседать стала северным краем, громадой своей лжеца придавила. Живот его жирный и плотно набитый, под тяжестью страшной разорван был тут же.

И целый бурдюк, полный маслом топленым, к ногам удивленных людей покатился, и поняли все, что силач тот был вором.

Осталась на месте Богдо-уула, только стала она с той минуты двухцветной. Весь северный склон ее красен от крови казненного вора, а южный, где честный батыр трудился, остался навек незапятнанно белым...

Ребята слушают, притаясь, как полевые мышки. Наташа еле слышно шепчет:

— Дедушка, я буду всегда-всегда честной!

Наран гладит внуков и говорит:

— У народа нашего много преданий, легенд и сказок. В них немало волшебного. Народ через них учит труду, чести и смелости. Наши старики так и говорят: «В истории нет лжи».

Ребятам бы еще послушать, да разве бабушка Саглар позволит? Вот она появляется с куском мыла и мохнатым полотенцем в руках.

Ну, сказочник, хватит тебе заниматься с внуками, иди купаться! Горячая вода смоет с тебя стенную пыль.

Дед нехотя отпускает внучат.

В доме уже золотыми плодами горят электрические лампы, и становится, пожалуй, светлее, чем днем. Наран невольно улыбается. Когда он подолгу отлучается из дому, он всякий раз удивляется своей квартире: шестикомнатная, просторная, она лучше всяких слов говорит о переменах в жизни таких людей, как гуртоправ. Подобных квартир раньше не имели даже нойоны владельцы лошадиных табунов и овечьих отар. Наран входит в обложенную белым кафелем ванную комнату. Все еще улыбаясь, он раздевается и ложится в теплую, мягкую, шелковистую — ему даже подумалось, «ласковую»— воду. Прежде чем взять мыло и мочалку, он лежит минуты две-три, и ему вспоминается прошлое, в сущности, не столь и отдаленное во времени.

Еще тридцать пять — сорок лет назад калмыки почти поголовно кочевали и жили в войлочных кибитках, точно в таких, с какими пришли их предки-кочевники три с половиной столетия назад из глубин азиатского материка на берега Волги. Тесно в кибитке, душно, грязно. Дырявая, она не спасает от леденящих сквозняков. Вероятно, даже тысячи лет назад кочевые люди жили в таких. Но вот что удивительно! Пока Наран не покидал кибитки, она казалась ему не только сносным, но даже уютным жильем. Летом в ней не так жарко, зимой, конечно, холодновато, но все же не замерзнешь. И от пыльных черных бурь спасение.

Наран провел одну только зиму в школе-интернате — и, приехав весной домой на каникулы, ужаснулся. Кибитка показалась ему не человеческим жильем, а звериным логовом. Он, как очарованный дальним видением, вспоминал белый дом школы, гладкие, чистые, с ковровыми дорожками полы, высокие потолки, окна с прозрачными стеклами, цветы на подоконниках. Светло, тепло, много воздуха, а дымом даже и не пахнет. Он горестно смотрел,

как сестра разжигала в родной кибитке очаг. Выход для дыма один — орко, отверстие наверху кибитки, и пока дым туда не дотянется, он — горький, разъедающий глаза, вызывающий кашель — заполняет все жилье.

Тогда впервые, не выдержав этого, Наран выскочил из отцовской кибитки на воздух, откашлялся и понял, как нищенски бедно живет его родной народ. До мальчика дошло, почему у калмыков часто слезятся глаза и краснеют веки. Это — работа дыма. И грязь, в которой жили калмыки, стала теперь для него понятной. Всю зиму калмыки ходили немытыми. Купались только летом. Бывало, соберутся ребятишки купаться, подойдут к колодцу, вытянут воду с помощью журавля, наполнят деревянное корыто, из которого поят скот. Ложатся туда по одному. А вода ледяная — много не належишься! Потом поливают друг друга из ведер. Вот и все купание.

Но чаще мылись под дождем, которым не баловало степное небо. Да, когда начинался дождь, в хотоны [1] приходил Праздник. Мягкий, добрый дождь! Как ты легко падаешь с неба! Как часты твои струйки, как приятно твое прикосновение! Все в хотоне раздевались и убегали под дождь, смывающий пыль, грязь, пот с тела. И омытое тело дышало всеми порами. И душа, словно смыты все горести, радовалась, и земля, истосковавшаяся по влаге, дымилась ароматами полыни, ковыля, шалфея, тамариска. Дождь шел через широкую степь, как добросердечная, всем желающая счастья мать-великанша!

Так думает дед Наран, нежась в теплой ванне. Потом он деловито моется, пустив в ход мочалку и мыло. А затем благодушествует за большим столом, расстегнув ворот белоснежной рубашки. Перед ним графинчик водки и жирное вареное мясо, от которого идет пар. Гуртоправ наливает себе стопочку и, как полагается, произносит йорол — благопожелание:

— Пусть хорошеет и не знает хвори моя жена, пусть счастье сопутствует моим детям, пусть растут, не болея, мои милые внучата!

— А Игрунка забыл! — кричит из другой комнаты Наташка.

Дед качает головой: «Ну и сорванец девчонка!» А вслух прибавляет:

Пусть Игрун никогда не посмеет сбросить с себя ни внука, ни внучку.

— Вот теперь пей! — разрешает Наташка.

Саглар стоит рядом счастливая.

Наран ловит ее руку.

— Хватит тебе хлопотать. Посиди со мной.

Саглар садится к столу, но в соседней комнате слышится визг ребятишек, а затем в комнату входит молодая, стройная женщина, в которой угадывается

[1] Хотон — группа кибиток, селение.

достоинство и нравственная сила. Это — Дулахан, жена сына.

— Мама пришла! — кричит Наташка.

Уже третий год Дулахан работает врачом на медицинском пункте совхоза, и ею не нахвалятся: знающая, для больного не щадит ни времени, ни сил.

— Здравствуйте, отец! — Голос грудного тембра прозвучал мелодично и ласково. — Хорошо, что вы приехали! Как ваша поясница? Не болит?

— С поясницей все в порядке. Вот только уставать стал.

— Это, отец, возрастное. Вам вот-вот исполнится пятьдесят пять. Другие в ваши лета уже на пенсии по инвалидности.

— С этим придется подождать. В архив меня еще рано! — улыбнулся Наран.

Ребятишки с двух сторон затормошили деда.

— А вы, пострелы, дайте дедушке спокойно пообедать! — одернула их мать.

Наран заметил, что Дулахан чем-то встревожена. Тонкие брови ее слегка нахмурены, черные глаза невеселы. Он хотел спросить, что ее печалит, но Саглар опередила:

— Ты, Дулахан, опять думаешь о каком-то больном? По глазам вижу. Хоть на время обеда забудь свою больницу.

— Но ведь там люди, мама. Страдающие люди!.. — И она торопливо заговорила о своей заботе: — Привезли с фермы больного. Можно сказать, умирающего. Осмотрела его, выслушала. Картина ясная — двустороннее воспаление легких в запущенной форме. Лицо желтое, как шафран, в глазах сухой блеск. Допытываюсь:

«Давно хвораете?»

«Больше месяца».

«Почему не обратились в больницу?»

«Лечился дома».

«Кто же вас лечил?»

«Бе[1]».

«Чем лечил?»

«Заклинаниями. Изгонял из меня шулмуса [2], да, видно, шулмус плотно угнездился во мне».

[1] Бе — знахарь.

[2] Шулмус — черт, злой дух.

«А больше ничем не лечились?»

«Сын ездил в хурул [1], привез гелюнга [2] с манджиком [3]. Гелюнг спрашивает: «Кюрде [4] есть?» — «Нет», — отвечаю...»

У больного много не спросишь. Узнала от родных остальное. Оказывается, привезли его в хурул. Гелюнг прочел какие-то молитвы, повертел большую бочку — кюрде, а больному все хуже. Гелюнг, получивший, по его разумению, чересчур тощего и старого барана, обозлился и признал больного великим грешником. «Везите, — говорит, — его домой». Родные привезли больного не домой, а к нам в медпункт. Все мы, врачи, боролись за его жизнь. Применяли и пенициллин, и стрептомицин, кровь переливали из вены в мышцу. Ничего не помогло. Час назад бедняга умер. Осиротела большая семья. И все из-за проклятой темноты!..

Дулахан не могла успокоиться: ходила взад и вперед по комнате. Дети притихли.

Наран молча наблюдал за снохой: «Похудела. Появились морщинки. Работает и день и ночь». Он опять вернулся к думам о прошлом. Раньше, если на улус был один врач, считалось счастьем. А теперь только в одном их совхозе три врача, и все работают с перегрузкой. Болеть, что ли, больше стали? Нет! Заботиться о человеке больше стали. Да и люди всё чаще вспоминают о своих правах. Это ведь не пустые слова о бесплатном лечении. Заболел — иди, тебя будут лечить. Если надо, положат в больницу. А потом, для поправки, путевку в санаторий или дом отдыха дадут.

— Ну я, пожалуй, прилягу, отдохну, — решила Дулахан и, захватив ребят, оставила стариков.

Они поднялись и пошли к себе. Две кровати в комнате, а между ними стол с лампой под зеленым абажуром. У стены диван. На полу ковер. Это недавняя премия. Старики, не сговариваясь, сели на диван. Стоит он тут третий год, а сколько разговоров слышал! И каких! Задушевных, откровенных, согретых заботой. А случалось, и шутливых, беззлобно высмеивающих и семейных, и знакомых. Как прожить без шутки! Дружная семья, живущая под одной кровлей, состоит, кроме Нарана и Саглар, из женатого сына и замужней дочки. Сын — его зовут Бакуром — закончил восемь классов, дальше учиться не захотел и работает шофером в совхозе. Это статный, красивый, высокий молодец, о каких говорят: и ладно скроен, и крепко сшит.

[1] Хурул — буддийский храм.

[2] Гелюнг — священнослужитель.

[3] Манджик — послушник, ученик и помощник священнослужителя.

[4] Кюрде — молитвенная бочка, вертящаяся на оси. Она наполнялась листочками со словами молитв.

Иссиня-черные жестковатые волосы зачесаны назад. Тонкие губы часто кривятся улыбкой. Не столько веселой, сколько самодовольной. В совхозном гараже о нем сложилось мнение: сам себя не обидит и другим обидеть не даст.

Те, кто пробовали с ним бороться или биться, испытали его силу и гибкость. Бакур женат на Дулахан. У них уже двое детей: Кевлюн и Наталья. Младшая дочь стариков, Кишгте второй год живет в Москве, учится в аспирантуре Тимирязевской академии. До этого она работала в совхозе агрономом. В академии познакомилась и подружилась с русским зоотехником Иваном Леоновым, светловолосым и голубоглазым. Свадьбу сыграли недавно. Немногословный, спокойный, рассудительный, Иван Леонов жил в семье тестя. Он, как говорится, пришелся к дому, и даже ребятишки любили играть с дядей Ваней больше, чем с отцом.

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА ПРИНОСИТ СЧАСТЬЕ

Жизнь большой семьи старого Нарана текла спокойнее Маныча, когда река, побушевав весной, катит свои воды между пологими степными берегами. Но разве бывает жизнь без горя? О нем, громыхнувшем, как весенний гром, и ведет свою речь Саглар.

— Жили мы как почки внутри жира[1], — вздыхает она. — И вот на тебе!

Саглар вышла из комнаты и тотчас вернулась с черной, окаймленной серебряной кромкой чашкой.

Выпей кумыса. И я тебе расскажу все по порядку. Ты ведь день дома, а месяц в степи. Не за всем усмотришь.

— И то правда.

Он хлебнул кумыса. Старушка заговорила тихо, чтобы не тревожить сноху, не привлекать внимание внучат.

— Я давно заметила, что у Бакура с Дулахан не все благополучно. Разные они люди. В свободный вечер Бакур куда идет? В клуб, на танцы. А Дулахан? Сидит над книжкой. Много раз ей говорила: «Сходи, доченька, потанцуй с Бакуром. Вы люди еще молодые». А она мне: «Я и в девушках не танцевала. Какая из меня танцорка?» Бакур петушится, успех у девушек ему, дурню, льстит. На клубных танцах он у всех на примете. Спрашиваю сноху: «А ты не боишься, что Бакур распустит павлиний хвост и вскружит голову какой-нибудь девушке? Среди калмычек красавицы встречаются».

[1] ...как почка внутри жира, то есть хорошо, безопасно; жир предохраняет почки от ушибов.

— «Нет, говорит, мама, это меня не заботит. У нас ведь дети растут. Да я и сама чувствую — любит меня Бакур».

Саглар вздохнула.

— Бездумно живет Бакур. Газет не читает. Над книгами смеется. Все бы ему танцевать да на скачках призы брать. Он и на совхозной машине лихачествует, как на коне. Увидит Дулахан с книгой — насмехается, у жены ученой — книга, у мужа — непришитая пуговица. Грех ему так говорить! Дулахан старательная, и Бакуру не на что жаловаться. Каких внуков родила! И красива...

— В нашем Бакуре крепко сидят старые корни, — сказал Наран. — Женщин за людей не считает.

— Правда твоя. Недавно прихожу домой, смотрю, сидит наш сынок, развалился в кресле, а Дулахан сапоги с него грязные стаскивает. Защемило у меня сердце от обиды. А Бакур знай себе: «Неси, жена, теплой воды, буду мыть ноги». Не выдержала я, вступилась; «Как, говорю, тебе не стыдно, сын? Сношенька наша только с дежурства пришла. И работа у нее серьезная. Врач. Воды я тебе принесу». Сказала так, взяла Дулахан за плечи и увела к себе.

— Правильно поступила! — одобрил муж и погладил жену по сухой руке.

— А то еще такой случай был. Подъехал Бакур к медпункту и командует: «Дулахан, иди сюда!» А она в белом халате, с подвязанным марлей ртом операцию делала. Ему объясняют: нельзя ее сейчас тревожить, жизнь человеческая у нее в руках. Он повернул машину и ночевать не явился. Смотрю наутро -лицо у Дулахан белее, чем айран [1], а глаза заплаканы. Кто его знает, где красавец муж ночь хороводился?

Старушка придвинула к Нарану чашку с кумысом.

— Все это отрыжка проклятого прошлого, против которого я всю жизнь воевал, — сказал Наран, отхлебывая кумыс. — Неспроста Бакур учился через пень-колоду, а потом от техникума отказался. Старое в нем сидит. Ты, Саглар, помнишь, как до революции калмычки уродовали свою грудь, стягивая ее узким камзолом? Помнишь, девушек, как скотину, продавали? Как свекрови измывались над снохами? Как калмычка не имела права произносить имени мужа и называла его «мой человек»? Вот чего бы хотел наш Бакур!..

— Слушай, Наран, дальше. Бакур так поступает, когда тебя нет. Понимает, что ты ему не потатчик. Побаивается, видно, тебя. Но ведь у нас живет Иван. Неспроста, я думаю, его выбрали партийным секретарем. Дулахан говорит: «Это совесть партийная». Вот и раскинь мозгами. Фортели Бакур выкидывает частенько при Иване. Тот сначала хмурился и уходил, а потом начались у них какие-то серьезные разговоры. О чем, я тебе объяснить не могу.

[1] Айран - напиток из кислого молока.

Подслушивать не мастерица. Прости меня, Наран, что я тебе все это не сразу рассказала. Не хотела расстраивать. А теперь и скрыть невозможно. Ушел от нас Иван...

— Как так ушел? — не поверил Наран. —А ты пробовала его уговорить вернуться?

— Пробовала. Он и слышать не хочет. Честь его оскорбили в нашей семье. А ты сам знаешь, как калмыки говорят: «Очи дороже, чем брови».

— Так что же случилось?

— Расскажу по порядку. Ты дома полмесяца не был. Приехал как-то Бакур, умылся, нарядился и все на часы поглядывает. Перед Иваном выхваляется: «Вот собрался в клуб на концерт. Жену поджидаю. Из Элисты артисты приехали. Говорят, сама Улан Лиджиева [1] выступит». А Дулахан, как на грех, все нет и нет. Опоздала Дулахан на целых сорок восемь минут. Это Бакур так со злобой сказал. Не вошла сноха в дом — вбежала. Вот как торопилась. А Бакур вспыльчивый, несдержанный — кулаки поднял. Дулахан закричала, руками лицо защищает. Вбежала я в комнату, застыла на месте. Ноги отнялись. Ну как сын ударит невестку?! А Иван встал, брови у него сошлись. Глаза из голубых синими сделались. «Опусти руки и извинись перед женщиной!» А сын наш кричит: «Она моя жена!» Смотрю, Иван идет на него, говорит: «Опоздал ты, Бакур, родиться на полвека!»

Подходит, хватает Бакура за руку и оттаскивает его от Дулахан. Та, красная от стыда, выбегает из комнаты. Тут Бакур как вырвется да как бросится на Ивана! Сцепились, катаются по полу, тяжело дышат...

— Сколько же это длилось? — строго спросил старик.

— Да недолго. Ну, минуты, я думаю, полторы-две, никак не больше. Опомнились, встали. Молча разошлись. У Бакура под глазом синяк с пятак величиной. И на лице Ивана — следы. Пока я костюм сына щеткой чистила, Иван, оказывается, чемодан собирал. «До свидания, говорит, мамаша. Не поминайте лихом!» Только его и видели. Хорошо, что ребятишки в степи с Игруном были.

— И больше ты его не встречала?

— Как не встречала! На другой день к нему пошла. В кабинете, с глазу на глаз, уговаривала: «Возвращайся, мол, зятек. Ведь это первая ссора. Я вас помирю с Бакуром. Опять же до Кишгте слух дойти может. А она на сносях». А Иван мне: «Я на Бакура зла не имею. Старых понятий он человек. Его перевоспитывать нужно. За столкновение извините. Нехорошо вышло. Только не могу я спокойно глядеть, как мужчина на женщину руку поднимает». Я ему:

[1] Народная артистка Калмыкии.

«Если зла на Бакура не имеешь, пойдем домой. Я сегодня дотур [1] приготовила». А он опять: «Я, мамаша, не прочь бы, да Бакур, люди мне передали, на машине своей в район поехал. На меня какое-то заявление в райком партии повез, да еще пригрозил к заявлению медицинскую справку приложить...»

— Справку ему вполне могут дать, — заметил Наран. — Сама говоришь, что у него под глазом фонарь.

— Был. Но и у Ивана два синяка и ссадины. Однако он к врачу не пошел.

— Хоть мне Иван только зять, а Бакур — сын, но, по правде, скажу: далеко нашему Бакуру до Ивана.

Старушка заговорила вполголоса:

— Слух идет, что кто-то этот костер давно уже разжигает, кому-то мешает мир в нашей семье. Хотят Ивана оторвать, а заодно и с партийной организацией совхоза его поссорить.

Наран помрачнел. Смутные догадки возникли у него. Он доверял Ивану давно задуманные дела, и Иван его поддерживал как секретарь парторганизации. Неужели его сын — заносчивый, самовлюбленный стал орудием в чужих руках?

Наран погладил руку жены и вышел на крыльцо. Была ночь. Луна уже взошла - круглая-круглая. Пятнадцатый раз приходит она в этом месяце. Блистая бесконечно далекими огнями, стояла в небе Большая Медведица.

«Наше с Саглар созвездие», — подумалось старому пастуху, и на сердце потеплело. Та заветная ночь была такой же черно-синей и теплой, и так же волшебно сияло созвездие. Да и день перед этой ночью был необычен. Произошло все восьмою числа месяца Овцы [2]. Хурул шумел. Со всех сторон люди шли и ехали туда. То тут, то там слышались людские голоса и конское ржание. Среди всех выделялась группа всадников. Они держались независимо, залихватски. Возглавлял группу молодец в дорогом белом бешмете. Из-под правой, откинутой ветром полы сипели диагоналевые брюки, ловко заправленные в щегольские хромовые сапоги. Черная смушковая шапка на нем была сбита набекрень. Пол ним, играя головой, танцевал гнедой тонконогий конь, на котором красовалось оправленное серебром седло. Восемь колец недоуздка звенели, и казалось, что конь гарцует под звон серебряных колокольчиков. Это ехал на хурульский праздник сын Эдля-бая Хурумчи со своими дружками.

[1] Дотур — бараньи внутренности, очищенные и особо приготовленные.

[2] В калмыцком календаре месяцы, чередуясь, носит названия животных: Заяц, Змея, Лошадь, Овца и т. д.

Вслед за ними скакала другая конная группа — беднее и скромнее. Только серый в яблоках жеребец был, пожалуй, под стать байскому гнедому. На нем ехал Наран. А конь был не его, а сельсоветовский. У его друзей комсомольцев лошади выглядели совсем плохо.

Вот и хурул. Это поселок из двадцати — тридцати деревянных домов. Посреди — два дома, понаряднее и побогаче. В них молятся. А вокруг живут гелюнги.

Всадники обеих групп стреножили коней. Внимание юношей привлекли нарядно одетые девушки, столпившиеся у палатки, где торговали сладостями. Хурумчи направился к палатке первым. Одна из девушек, завидев его, пугливо, как сайгак, скрылась за спины подружек, а те, не сговариваясь, сомкнулись в кольцо. Дружки Хурумчи двинулись за ним.

— Сын бая плюет на степные обычаи! - с досадой бросил один из комсомольцев, намекая на старинный обычай, запрещавший жениху до свадьбы видеть свою невесту.

Хурумчи, отмахнувшись презрительно от говорящего, ворвался в девичью стайку, как коршун бросается на выводок цыплят.

Обняв невесту, он сделал попытку сорвать с нее голубой платок. Но девушка оказалась не из робких. Она с силой оттолкнула бесцеремонного жениха, и ее платье с рисунком из крупных красных яблок мелькнуло в глазах Нарана.

Не девка, а шулмус! - выругался Хурумчи и наотмашь ударил девушку ташмаком[1]. Все были ошеломлены. Побледневший от гнева Наран одним прыжком очутился возле байского сынка, схватил его за кисть руки, да так крепко, что ташмак выпал из рук хулигана.

Хурумчи взглянул на дружков и по их виду понял, что в драку с комсомольцами они не вступят. Что ему оставалось? Выругался и пошел прочь. За ним поплелись приятели. Все это произошло быстро, и все же Наран успел перехватить взгляд черных девичьих глаз и прочесть в них благодарность. Хурумчи и его свита ускакали в степь. А Наран с друзьями и не думал уезжать. Он облюбовал большую каменную глыбу, невесть как занесенный кусок скалы, забрался на него и, подняв руку, заговорил. Сначала его слушали только девушки и парни. Потом подошли взрослые, даже старики. Потянулись молящиеся из центра хурула. Это встревожило бакши 2 читавшего в то время молитвы.

«Куда уходят люди?»—удивился он, а потом догадался, что это безбожники-комсомольцы пришли баламутить народ.

[1] Ташмак — кнут.

Кончив говорить, Наран поискал глазами девушку в красном платье и увидел ее. Смущаясь, он подошел и почтительно спросил:

— Как тебя зовут?

— Саглар, — еле слышно ответила невеста Хурумчи.

Трудно было разгадать тогдашние, скорее всего неясные девичьи мысли Саглар, а вот Наран почувствовал, что ему не жить без этой черноглазой, и теперь у него одна забота — не уступить ее грубому Хурумчи. Скорее инстинктом, чем разумом, он постиг, что девушка не любит жениха, а засватана помимо воли. Сколько таких случаев было в калмыцкой степи!

В ту пору Наран, по поручению батрачкома, объезжал хотоны, объединял батраков и добивался заключения меж батраками и баями трудовых договоров. Тогда это было делом нелегким. Забитая, темная беднота, боясь лишиться заработка, уклонялась даже вести речи о договорах. А баи сплошь и рядом выдавали батраков за своих родичей. Тут и показал себя умный, речистый Наран. Никому из работников батрачкома не удавалось, как ему, рвать тонкие байские тенета.

В бесконечных переездах, ночуя каждый раз на новом месте, Наран вспоминал Саглар, ее черные глаза, тонкий румянец, нежные черты лица. «Таких девушек, —думал он, — нет на свете. Но ведь она засватана! Да еще за кого! В степи отец ее жениха Эдля-бай едва ли не самый богатый, жестокий и хитрый».

Серый в яблоках конь словно чуял душевное состояние полдника и мчался так, что только ветер свистел в ушах.

Недели через две после первой встречи Наран с удивлением заметил, что в поездках делает большие круги, а в центре - всегда хотон, где живет Саглар. Ему и хотелось посетить хотон, и страшился он возможного холодного приема. Как знать? Может быть, она презирает вчерашнего батрака, нынешнего агитатора батрачкома, которого недолюбливали степные баи, а часто и открыто грозили ему. И все же он решился. Серый, прядая ушами, понес его к хотону девушки. И, словно по колдовству, преобразилась степь вокруг. Наран мог бы поклясться, что цветы улыбаются ему, суслики свистят ободряюще, ветер нежно и прохладно гладит его щеки, а воздух ароматен, целебен, и с каждым глотком его приливают силы, расправляются крылья мечты о счастье.

Наран скакал по целине. Копыта серого позеленели от травы. В балке, вблизи от хотона, был колодец. Наран решил напоить коня и освежиться холодной, вкусной водой. Журавль колодца маячил издалека. Вот он, как верблюд, опустил шею, скрылся. Значит, кто-то набирает воду.

[1] Бакши — старейший хурула (учитель).

Из балки навстречу ему поднимались телята. Какими потешными, веселыми показались их влажные от воды мордочки. Наран спешился и, ведя серого на поводу, стал спускаться вниз. Оттуда несся беззаботный, задорный смех. «Так смеются только девушки», — подумал юноша. И верно, девушки поили телят. Пока молодняк утолял жажду, калмычки обрызгивали друг друга водой. Увидев незнакомца, они сразу умолкли, стали серьезными. Наран разглядел Саглар. Она ловко орудовала журавлем, и волнение выбелило его лицо. Приличия требовали произнести приветствие, и он едва выдавил:

— Здравствуйте, девушки!

Молодые калмычки переглянулись. У одной непроизвольно вырвалось: «Саглар!», но та, что называется, и ухом не повела, продолжая тянуть бадью с водой.

— Разрешите, девушки, напоить скакуна?

Низкорослая, с обветренными губами калмычка, та, что принимала от Саглар бадью, отозвалась не очень любезно:

— Воды не жалко. Ее в колодце много.

Наран разнуздал коня, подвел его к корыту, а сам подошел к колодцу.

— Позвольте, я помогу, пока пьет конь.

Коренастая молча передала ему бадью, а все девушки, как, по уговору, отвернулись от него.

Наран, батрачивший не один и не два года, начал быстро, ловко, даже с каким-то шиком наполнять корыто чистой водой. Да и выходило это у него вдвое быстрее.

«Хорошо работает парень!»— думали подружки Саглар, а она, взволнованная, раскрасневшаяся, стояла не поднимая глаз. От себя она не могла скрыть, что с памятной встречи Наран прочно поселился в ее сердце, и она мечтала о нем, видела его в своих снах. Саглар жестоко упрекала себя: «Ты засватана, грешно тебе думать о другом». Но чем строже она судила себя, тем чаще вспоминала гарцующего на сером скакуне темноглазого парня.

В одну из душных предгрозовых ночей ей приснилось, будто мчится она с Нараном на одном коне, и он жарко шепчет ей слова, каких она никогда не слышала: лотос, журавушка, утренняя звезда... Жизнь стала тревожной. Каждый стук конских копыт заставлял вздрагивать сердце: не он ли? Боясь встречи, Саглар, наперекор всему, все сильнее жаждала увидеть парня. Сейчас сама судьба свела их. Девушка трепетала, втайне заклинала джигита, чтобы он скорее исчез, и в то же время боялась, что он уедет, не сказав ей ни слова, и встреча окажется последней.

Наполнив до краев все корыта, Наран заговорил. Он задавал девушкам обычные вопросы о новостях, о происшествиях. А они отвечали односложно: «да» и «нет».

Саглар не могла двинуться с места Она даже не заметила, как девушки погнали на бугор напоенных телят, оставив ее наедине с ловким, красноречивым парнем. Как знать? Может быть, так они поступили умышленно... Опомнилась Саглар, только увидев перед собой Нарана. Вблизи он показался еще краше. Саглар поняла: он ее судьба. Тревожно забилось сердце, и страх и радость овладели ею. Что-то будет?

— Саглар!..— прошептал Наран.

Как чудесно, как нежно прозвучало ее имя! «Даже колыбельные песни матери были менее ласковы, — подумала Саглар. — Кто он, этот молодой волшебник? В одно слово он сумел вложить столько смысла, ласки, уважения, любви. Да-да! Любви...» Сердце девичье чутко — его не обманешь. Грудь девушки заполнило ощущение радости, легкости. Девушка

чувствовала, что вот-вот зазвенит, как натянутая струна, и любое слово прозвучит ликующе, певуче.

— Наран! — даже не шепотом, а на одном дыхании ответила она.

И как только Саглар произнесла любимое имя, она как будто проснулась и сбросила колдовство. Где же подружки? Что они подумают? И, даже не взглянув на Нарана, она побежала, как быстроногая лань.

Наран завороженно смотрел ей вслед...

После этого юноша зачастил в хотон, где жила Саглар.

На степных игрищах он держался около других, шутил, смеялся, пел под домбру, но где бы и с кем бы он ни был, он каждую секунду чувствовал ее присутствие, и ему было безотчетно легко.

Однажды после игр Нарану посчастливилось остаться наедине с Саглар. Небо, степь и они. А с неба ласково и благословляюще, как добрая мать, смотрела Большая Медведица. Они поклялись любить друг друга, что бы ни случилось. Не переводя дыхания они семь раз произнесли старинное калмыцкое заклятие: «Большая Медведица — каждый раз повторение счастья».

Калмыцкое поверье грозит карой тем, кто нарушит эту клятву. Но так уж устроено на земле, что легче поклясться, чем выполнить обещанное.

Эдля-бай прослышал про это и, выдергивая медными щипчиками редкие волоски бороды, съехидничал:

— Выполнить такую клятву потруднее, чем проглотить котел расплавленного железа!..

Наран пошел в сельсовет. Молодая Советская власть к тому времени уже пустила корни в калмыцкую землю. Он рассказал обо всем председателю сельсовета и попросил помощи.

Председатель, выбрав наиболее уважаемых стариков в качестве сватов, сам поехал главным сватом в семью Саглар. Начал он, как водится, с благопожелания:

— Пусть посуда ваша будет всегда наполняться кумысом! Пусть у дверей всегда стоит оседланный конь!

Сватам ответили поговоркой:

— Начало реки — родник, начало человека родственники по матери.

Сваты поняли это как надо: родственников по матери у Саглар очень много. Род был ветвист, и все родичи были либо одарены, либо уговорены, либо запуганы дальновидным Эдля-баем. Родичам Саглар Хурумчи казался более подходящим женихом для девушки, чем Наран. Сватам было отказано решительно и бесповоротно:

— Вы видите, аав [1], как сейчас садится солнце за край земли. Считайте, что вы увидели, как наша Саглар стала женой Хурумчи.

С тем сваты и уехали.

Наран ускакал в степь, стреножил коня, упал на траву и пролежал всю ночь, смотря в звездное небо и не замечая звезд. Таким большим было его горе.

Приближалась осень, а свадьбы у калмыков обычно совершаются осенью. Был назначен и день свадьбы Саглар. Оставался всего месяц девичества несчастной. По старинному обычаю, она ездила из хотона в хотон к родичам и там проводила последние вечера и ночи; подружки и парни пели песни, танцевали, а ей надлежало оплакивать девичьи годы и жаловаться на женскую судьбу. И тут стало происходить что-то непонятное. Невеста не плакала, а, сверкая белыми зубами, улыбалась. На вечере у своего двоюродного брата Саглар не уронила и слезинки. Хозяйка потихоньку щипала Саглар до синяков, чтобы вызвать слезы. И не могла ничего добиться. Девушка улыбалась, а глаза ее цвели, как два черных тюльпана.

Всему на земле свой срок. Настал день свадьбы. Перед кибиткой родителей Саглар остановились две повозки — с мясом и аркой [2]. Двадцать всадников, спешившись, стали разгружать повозки. До кибитки выстроился живой коридор девушек и молодых женщин, вооруженных чем попало: плетками, палками, ремнями. Гости шли в кибитку невесты по одному, а их стегали. Так велит обычай.

[1] Аав — почтительное обращение к старикам.

[2] Арька — хмельной напиток из молока.

Свадебный пир длился два дня и две ночи. Настала пора принятия невесты. В хуруле невесту должен был принять восемнадцатилетний Бадма. Вот он стоит у кибитки, а рядом вороной оседланный конь. Вдали повозки. Женщинам полагалось выдать Бадме из кибитки невесту, а ему — положить ее на седло и довезти до повозок. А пока он ждет невесту — бей его сколько хочешь и чем попало. Так тоже велит обычай.

Стоит Бадма, бьют его, бедного. А в кибитке, опять-таки обусловленный обычаем, женский и девичий переполох. Женщины стараются захватить невесту и выдать ее Бадме, а девушки-подружки окружают ее и не отдают. Обычно это длится не так уж долго. Повременят для вида, а потом сорвут, ища невесты синий платок и сдадут всаднику. На этот раз церемония почему-то затянулась. Все-таки женщины одержали верх, подхватили невесту, одетую в голубое шелковое платье, подтолкнули к выходу. Сполз с лица ее традиционный синий платок — и всеобщее изумленное «Ах!» прокатилось по толпе. Под платьем невесты была не Саглар, а другая девушка. Бедняга Бадма схватился за голову. Самолюбивый и надменный Хурумчи заскрипел от ярости зубами. Опозорен он — и кем? Им пренебрегли ради голодранца!

А в этот час серый конь мчался по степи. Наран прижимал к груди свою любимую. Ноздри скакуна раздувались, с замшевых губ падала пена. Но даже поджарый гнедой рысак Хурумчи не смог бы настичь его. Серый словно понимал, что дело идет о жизни и смерти тех, кого он везет. Догони разъяренный Хурумчи с приспешниками счастливую пару — исхлестали бы плетьми, втоптали бы конскими копытами в землю беглецов, и это оправдал бы все тот же древний обычай.

Но вот показался сельсовет. Даже байский сынок не осмелился бы ворваться туда. Торопя председателя сельсовета, Наран расписался и впервые назвал Саглар женой.

...Все это прошло перед внутренним взором старого Нарана под сиянием Большой Медведицы. Неужели это выбранное ими созвездие не оберегает их счастье? Откуда у сына Бакура замашки байского сынка Хурумчи? Разве они не любили, не холили Бакура, не внушали ему самые чистые человеческие чувства? Разве не подавали хороший пример? Как это получается, что сеешь кукурузу, а вырастает чертополох? Эх, сынок, сынок! Нет в семье ни тебя, ни Ивана. Как в трауре, печальна Саглар. Полна смятения Дулахан. Недоумение в глазах детей. Как им объяснить, что произошло в семье? Еще раз взглянув на небо, Наран вернулся в дом. Саглар сидела все в той же горестной позе. Разлад в семье она переживала труднее всех. Ее материнское сердце-вещун предсказывало, что Бакур не остановится на содеянном, а пойдет дальше. Если

бы ей сказали: «Мы отрубим у тебя, Саглар, по очереди правую и левую руку, но твой Бакур будет хорошим человеком», — она безропотно согласилась бы.

Наран сам приготовил постель. Потом молча подсел к жене. Вспомнились дни, когда он работал председателем колхоза, а соседом его, тоже председателем колхоза, был теперешний секретарь обкома. Их обоих выдвигали в районный аппарат. Наран, как всегда, посоветовался с женой.

Говорили долго, даже спорили. И Наран согласился тогда с Саглар: не дело бросать еле дышащий колхоз и ехать в район. Сосед уехал, а Наран остался и уже через два года, с неимоверными усилиями вывел колхоз на широкую дорогу. Его и до сих пор там вспоминают добрым словом. И после этого не раз предлагали Нарану ответственные должности, но он наотрез отказывался. Сроднился он со степью, с гуртом, с живым делом. Делать, творить куда интереснее, чем подписывать отчеты. Конечно, без аппарата ни району, ни области не обойтись, но аппаратчиков и без него хватает. Кроме того, у него всегда на уме что-нибудь новое, сулящее двинуть дело вперед. И как светло и легко на душе, когда это новое делается твоими руками! Одного не прощает себе Наран: не учился он в Тимирязевской академии, а ведь его посылали туда! Даже себе Наран не признался бы, что отказывается от переброс ок и выдвижения и даже от Тимирязевки из-за Саглар. Не хотел разлуки. «Может быть, это недостаток, — думал иногда Наран. — Ну что же, пусть недостаток». Что-то не встречались ему люди без недостатков. Да и есть ли такие?

— не печалься, — мягко сказал он жене. — Утром пойду в контору совхоза. До возвращения Кишгте с Иваном надо все уладить, а о Бакуре подумаем особо. Дело с ним серьезнее, чем ты думаешь.

Саглар легла. Лег и Наран. Думали они, вероятно, об одном и том же, только по-разному. Мать очень хотела поверить, что растопит лед в сердце сына материнским теплом. А отец, напротив, твердо решил на этот раз не уступать...

Поздно ночью кто-то постучался:

— Извините, аав, что явился поздно, — почтительно сказал молодой письмоносец. — Мой железный конь-мотоцикл заартачился, а вам письмо по авиапочте. Не хотелось задерживать.

Старик повертел конверт — письмо адресовано Ивану, и, судя по обратному адресу, от его брата Михаила, работавшего в совхозе «Илийский». Алма-Атинской области. Наран подумал: «Завтра утром зайду к Ивану. Предлог есть -письмо».

С этими мыслями он уснул.

КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН С БАКУРОМ

На другой день, чуть свет, Наран пошел в контору совхоза, захватив письмо. Дело было, конечно, не в письме. Надо было начистоту поговорить с зятем и помирить его с Бакуром. Давно назрел и другой, серьезный разговор с Иваном уже не как с зятем, а как со старшим зоотехником совхоза.

Знающий дело Наран часто размышлял о новом порядке откорма телят в своем гурте, в соседних стадах да, чего греха таить, и по всей республике.

В Латвии или Эстонии разводят преимущественно молочный скот, а его родная республика издавна славится мясным скотом калмыцкой породы. Коровы в степи не доятся. Телятам достается все молоко, и это сказывается на росте и упитанности молодняка. На семи-восьмимесячных телят любо-дорого смотреть: гладкие, с шелковой шерстью, с подгрудками, свешивающимися до травы. Не телята — загляденье! Но подкрадывается осень, а потом прилетают белые мухи зимы. И упитанных телят нельзя узнать: они худеют, хоть ребра считай.

Остаются от них, как в народе говорят, кожа да кости. В чем же тут секрет? В постановке дела. Пока телята при коровах, они на попечении одного гуртоправа, а как их отобьют от коров, они попадают к другому. Там они встречают иное отношение, а частенько и нехватку кормов. Так жир, что нагулял молодняк, спускается в первую же зимовку на тридцать — сорок, а то и на все пятьдесят килограммов. Захиревших телят потом трудно поднять. Телята растут, но в весе не прибавляют. И эта нелепица творится из года в год. А что, если поломать этот невесть, когда установленный порядок? Не переводить телят в другой гурт, в другую бригаду, а закрепить их за тем же гуртоправом, чтобы он и зимой заботился о хорошем питании телят...

Изучив телят за лето, гуртоправ постарается вырастить такой скот, что его можно будет сдавать на мясо не трехлетками или даже четырехлетками, а в возрасте от полутора до двух лет. Затраты на выращивание молодняка уменьшатся вдвое, и срок выращивания укоротится тоже вдвое.

Как-то Наран сел за стол и занялся подсчетами. Цифры ошеломили его. Выходило, что республика теряла и теряет при теперешнем порядке миллионы рублей, не говоря уже о качестве мяса, которое при новом порядке будет неизмеримо выше теперешнего: одно дело мясо четырехлетки, другое — двухлетки! Мысль об этом крепко засела в голове Нарана. «Конечно, — подумал он, — самолично, по своему желанию приемы в животноводстве я изменить не могу, но и молчать о возможности громадной экономии, не имею права».

Осторожно он завел речь об этом в своей бригаде. Анджа сразу загорелся идеей, а Улюмджи выслушал гуртоправа сдержанно и даже слегка насмешливо.

— Выходит, мы умнее всех! — усмехнулся он и добавил: — Работа удвоится, а заработки? Если привесы вырастут, может быть, что-нибудь и подбросят, а не будет привеса, намылят нам холки, а денег не жди.

Наран с сожалением посмотрел на Улюмджи.

— Такой молодой и уже такой осмотрительный. Риска боишься, как заяц лису.

А Улюмджи свое:

— Своевольничать не будем! Если дирекция совхоза прикажет, тогда что ж, подчинимся. Только лучше бы этот опыт произвела соседняя бригада, а мы бы посмотрели, что у них получится. Надо всегда бить наверняка.

Наран и сам хорошо понимал, что для установления такого порядка в гурте нужно согласие главного зоотехника и директора совхоза. Во всяком опыте есть доля риска, а кто рискует — несет ответственность. Старик сразу пошел в кабинет старшего зоотехника. Где же ему еще быть, бесприютному, покинувшему родную кровлю? Постучался. Никто не ответил. «Мучается Иван, — поморщился гуртоправ, — Наверное, по базам и кошарам мотается, чтобы не оставаться наедине с собой». По конторскому двору шел вразвалку заместитель Ивана — зоотехник Очиров. Очень рано ожиревший, он не нравился Нарану из-за лености и боязни всякого новшества. На инструкции он готов был молиться, а инициативных людей называл, смотря по обстоятельствам, то критиканами, то крикунами.

Поздоровавшись с Очировым, Наран отвел глаза в сторону. Очиров сощурил и без того узкие глазки, и жирное лицо его стало до приторности ласковым.

— Не случилось ли чего у вас дома, Наран Сарангович? Иван Петрович, зять ваш, почему-то переселился в свой кабинет и каждое утро, ни свет ни заря, берет буланого и айда в степь...

По тому, как рассказывал Очиров, Наран понял, что о скандале уже говорят. Так уж ведется в степи: слухи катятся, словно осенью бурые шары перекати-поля.

Узкие глазки Очирова злорадно ощупывали Нарана, чего-то ждали, на что-то намекали.

— Мне показалось, что Леонов чем-то расстроен. Но разве он поделится? Кремень человек!

— А где Бакур?

— Уехал вчера в район. Совхозу выделили новый грузовик. Он его обкатывает. — И не без ехидства добавил: — Главное дело, заявление какое-то в райком повез.

Все складывалось для Нарана плохо. Откровенная усмешка Очирова ясно говорила, что Бакур повез в райком жалобу на Ивана. Семейный конфликт получал общественную огласку. Придется, видно, возвращаться домой не солоно хлебавши. Но вернуться не удалось. К конторе подкатила серо-голубая «Волга». Из нее не вышел, а выкатился брюшком вперед Салькан Цеденов. Директор потрясал пачкой свежих газет.

— Вот! — кричал он на ходу. — Оценила газета! Отметила. Можно сказать, на всю страну. Я захватил двадцать экземпляров. Получите, Наран... э-э... как бишь вас? Ага! Наран Сарангович!

Старый гуртоправ настороженно развернул газету. Ну так и есть! Семинар в совхозе «Степь» расписан на всю полосу. Еще бы! Присутствовал секретарь обкома!

Цеденову не терпелось похвастаться:

— Вот читайте! «Этот своеобразный степной семинар открыл яркой речью директор совхоза «Степь» товарищ Салькан Цеденов...» По столичному сказано: «яркой речью»! Наловчились писать наши газетчики.

Прямодушный Наран нахмурился. «Ну зачем он так бахвалится? — думал старик о директоре. — Есть ведь в человеке хорошие качества. Не ворует. В деле разбирается. А как начнет «якать» — стыдно слушать...»

Цеденов не замечал ничего. Он снял, как начищенный самовар. Нарану он прокричал директивным тоном:

— Если что надумаете там у себя, Наран... э-э... Сарангович, сразу дайте мне знать. Печать — великое дело!

Гуртоправ опустил голову.

— Чересчур вы скромны, — неодобрительно заметил директор. — Себя и свою, вот именно, бригаду в тени держите. А это отзывается на репутации совхоза...

По его глазам Наран понял, что директору известен семейный конфликт.

Почесав в затылке. Цеденов неопределенно хмыкнул.

— Слышал я стороной, что старший зоотехник наш перебираться к брату в Казахстан задумал. Оно и понятно! Поднятая целина! Масштабы...

— Жена у него здесь, — напомнил старик.

— Жена? А знаете русскую поговорку? Куда иголка, туда и нитка.

Наран услышал шаги. К Цеденову спешил с бумагами Очиров, и разговор иссяк сам собой.

Вернувшись домой, Наран молча оседлал гнедуху и уехал. Думы его были невеселы. Почему-то вспомнился один вечер Нарану захотелось почитать вслух — жене, внукам, сыну, всей семье. Старику всегда нравился Лермонтов. Он раскрыл томик и наткнулся на поэму «Беглец». Начал читать:

Гарун бежал быстрее лани.
Быстрей, чей заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла...

В доме водворилась тишина. Все, даже дети, умолкли. Нарану особенно понравилось, что слушал и Бакур — свежевыбритый, чисто одетый, лежавший на кушетке. Рядом с ним сидела Дулахан. Кончив поэму. Наран раскурил трубку и не без волнения продолжал:

— А знаете, как Лермонтов этой поэмой помог нам на фронте?

— Не знаем! Расскажи, дедушка! — закричала Наташка.

Все ее поддержали.

— Как это было? А вот как. Наша часть стояла в Сталинграде. Фашисты рвались к центру города. В районе Ельшанки наш взвод оборонял маленькую сопку. Вот сказал «наш взвод» и... спохватился. Это был уже не взвод, а малые его остатки. Лежали в развалившихся окопах. Немцы трижды ходили в атаку, но мы отбивались. Я был тогда парторгом и не расставался с книжечкой Лермонтова—с поэмой «Беглец». Выбрался один-единственный спокойный вечерок, я и прочел бойцам «Беглеца». А на утро бой вспыхнул с новой силой. К высотке поползли пять немецких танков, а за ними рота пехоты. Переглянулись мы с командиром взвода. Плохи дела! Не успел я ему и слова сказать, скосило его пулей. Еле слышно успел он прошептать: «Командование передаю парторгу Нарану Сарангову». Сверху — гул моторов. По высотке

бьют минометы. Вижу, несколько бойцов отползают назад. Вспомнил вчерашний вечер и восхищение солдат Лермонтовым. Крикнул своим людям: «Ни шагу назад! Не будьте Гарунами»! И что же вы думаете? Лермонтов оказался сильнее огня и железа. Те, кто отполз, вернулись. Встал я и закричал: «За мной! Отстоим родную землю!» Пошли мы в контратаку. Многие не вернулись. А высотку все-таки отстояли. А ведь высотка — частица Родины...

Наран разволновался. Ком подкатил к его горлу, и он невольно взглянул в сторону кушетки, где раньше лежал, радуя его своим вниманием, Бакур. Сердце отца сжалось: сейчас Бакура не было. Дулахан выглядела виноватой.

— Где твой муж? — строго спросил Наран.

— Отец, он ушел примерно на середине поэмы.

— Гарун!..— вырвалось тогда у старого гуртоправа.

И сколько таких бестактных поступков допускал Бакур. Теперь Наран ехал и корил себя: «Избаловали. Вырастили себялюбцем». Мысли оборвались неожиданно. Зоркие глаза разглядели вдалеке буланого коня Ивана. Вот счастливая случайность! Буланый рысил далековато. Если крикнуть, Иван вряд ли услышит. Определив направление всадника. Наран пустился наперерез.

Степь дышала горьким медом трав. Легкий ветерок освежал лицо. Но Наран знал резвость буланого. Не догнать! И тогда, вспомнив молодость, он соскочил с коня, присел на корточки, сложил ладони рупором и завыл по-волчьи. Этому научил его когда-то старый охотник в далекую пору, когда водились волки в калмыцкой степи.

Протяжный, не отличимый от волчьего вой разнесся далеко, достиг ушей Ивана. Тот попридержал буланого и огляделся. Он узнал гнедуху и поехал навстречу тестю.

— Отец! Откуда вы здесь? — удивился Леонов, подъезжая. — Что-нибудь случилось?

Они одновременно сошли с коней и присели на траву.

— Ходил к тебе с утра в контору, да не застал. Хорошо, что масть твоего коня приметна, издали увидел. Письмо тебе от брата.

Он передал зятю конверт. Не стряслось ли что у родичей?

Иван нервно разорвал конверт и углубился в чтение.

Наран покосился на письмо: в нем никак не меньше десяти страниц. О напастях пишут короче. Что же это такое? Чем больше вчитывался Иван в строчки письма, тем больше яснело его лицо.

— Молодцы! — вырвалось у него. Тестю он тут же пообещал: — О чем пишет брат, расскажу подробно. А сейчас поговорим о семейных делах.

Наран насторожился, а у Ивана сошлись брови.

— Вчера разговаривал с Бакуром. Мировую предлагал: ты, дескать, неправ. Ну и я был не на высоте. Давай помиримся...

— А он?

— А он понял это по-своему. Решил, что я труса праздную. «Ты, говорит, хвостом завилял, потому что узнал о написанном мной заявлении в райком. Ничего не выйдет. Око за око — обида за обиду!»

Наран помрачнел. Худшие его опасения сбывались.

— Ну что ж, придется мне, старому, тащиться в районный центр! Авось дело уладится.

Про себя он подумал: «А если не уладится? Если Ивана снимут и заменят Очировым?» Безобманное чутье подсказывало старику, что беседу о задуманном опыте откладывать невозможно. Да он и не любил откладывать хорошие дела. Наран заговорил, да с таким воодушевлением, что Иван удивленно посмотрел на него. Наран выложил все, о чем думал наедине с собой и говорил с бригадой.

— Больше тысячи тонн первосортного мяса теряет республика. Многие миллионы рублей бросаем псу под хвост. Неграмотно, неумело хозяйствуем.

Старший зоотехник понимал гуртоправа с полуслова. Предложение Нарана не отнимать и не переводить в другие гурты телят осенью он безоговорочно одобрил.

А старик закончил так:

— Конечно, бригада отвечает за каждую корову, но ведь дело не в количестве коров, не в поголовье, а в конечной продукции: в мясе. Дала бригада столько-то тонн мяса — это и есть ее вклад в хозяйство республики. А мы развели обезличку, безответственность.

Замолчав, он опасливо взглянул на Ивана. Как-никак, и зять — старший зоотехник, ученый человек. Вдруг признает все это несбыточным мечтанием необразованного степняка?

Но лицо Ивана просветлело. Казалось, он гордится тестем, обрел в нем то, чего и ждать не мог...

— Да вы же, отец, мудрый человек! У вас золотое сердце! Пока я еще старший зоотехник и секретарь парторганизации, хотя меня могут в любой день снять, даже исключить из партии. И я обеими руками поддерживаю ваше предложение! Немедленно едем к директору, убедим его в необходимости этого первого в Калмыкии опыта...

Больше они не разговаривали. Вскочили на коней и понеслись.

Уже подъезжая к совхозу, Наран засомневался:

— Не убедим мы Цеденова.

— Уговорим! — обнадеживал Леонов. — У меня для него петушиное слово есть.

Цеденова они застали в кабинете. Одного. Директор решил, что они прискакали из-за семейного разлада, и сразу же притворно завздыхал:

— Поздно, товарищи, хватились! Из райкома мне уже звонили. Секретарь райкома признался: «Я, говорит, не хотел раздувать это дело, но Бакур подал заявление, в присутствии инструктора обкома, да еще медицинскую справку приложил. У инструктора — сразу ушки на макушке».

К изумлению, Нарана, зять, пропустив мимо ушей тираду Цеденова, вынул из кармана письмо.

— Послушайте, и повнимательнее, что мне пишет брат из совхоза «Илимский», из-под Алма-Аты. Чудеса!

Цеденов насторожился. Он изучил Леонова. Тот слов на ветер никогда не бросал. Если принес письмо, значит, оно имеет прямое касательство к совхозу «Степь».

Иван начал вслух:

— Провели у нас, Ваня, такой опыт, что трудно даже представить. Раньше в совхозе было как везде: пахали одни, сеяли другие, убирали третьи. Множество норм и расценок. Одних учетчиков держали сто тридцать два человека. А в этом году мы создали звенья механизаторов широкого профиля. Вместо множества норм и расценок звенья получили, по одной норме: дать столько-то центнеров конечного продукта — зерна — по такой-то цене. И всё. Пашню поделили между семнадцатью звеньями. Учет они вели сами. Раньше была погектарная сдельщина, с доплатой за сверхплановую продукцию, а тут ввели безнарядно-звеньевую систему, с оплатой за конечный продукт. И вот тебе результат. Читай, Ваня, да наматывай на ус. Даю сравнительные цифры работы по старинке и по-новому. По старинке, то есть в прошлом году, валовой сбор зерна — три с лишним тысячи тонн. По-новому, то есть в нынешнем году, — девять с лишним тысяч тонн! Втрое больше. В прошлом году на земле было занято двести два человека. В нынешнем — всего двадцать девять. На одного хлебороба в прошлом году собрано сто пятьдесят шесть центнеров. В нынешнем — три тысячи сто семьдесят три! Расход на зарплату снизился больше, чем втрое. Государство в выигрыше. Совхоз на первом месте. Заработки людей увеличились. Вот что значит умная голова и наука, именуемая экономикой...»

Тугодум Цеденов засомневался.

— Ну, а у нас, в нашем совхозе, что-нибудь из этого применить можно?

— О том и речь! — весело подхватил Леонов. — У нас, оказывается, есть своя умная голова, свое золотое сердце. Вот он! Наран Сарангович...

Директор заерзал в кресле.

— Не томи, выкладывай.

Иван неторопливо рассказал о сути предложения Нарана: оставить в гурте телят, а оплачивать труд по сданному мясу. Весы, они не обманут, не подведут. Видя, что Цеденов еще колеблется, Иван тронул в его сердце самую чуткую струнку:

— Даю руку на отсечение, что опыт этот удастся! Вся Калмыкия его подхватит. В газете портрет гуртоправа поместят, да и ваш тоже.

Цеденов молчал. Он жил с убеждением, что все без исключения любят почет и боятся ответственности, только прямодушные, к каким он причислял почему-то себя, не скрывают этого, а те, кто похитрее, помалкивают:

Предложение Нарана заманчиво, ох как заманчиво! А если опыт не удастся? Стружку будут снимать с него, с Цеденова. Это он отлично знает. Как же поступить? Чтобы затянуть ответ, он озабоченно спросил Леонова:

— А какие средства понадобятся на опыт?

Едва приметно подмигнув тестю, Иван успокоил директора:

— Сущие пустяки. Бригаду придется увеличить на одного человека, ну и подбросить немного кормов. Впрочем, с кормами простой перерасчет. Где ни корми молодняк, без кормов не обойдешься. Приплата за привес ведь не меняется. Будет привес — будет и приплата. Так велит закон!

Цеденов слушал вполуха. Мысли его текли в другом направлении. Смотря прямо в глаза зоотехнику, он сказал:

— Недавно я прочел и умной книге: «Слова — это сотрясение воздуха».

Перехватив в глазах собеседника недоумение, директор разоткровенничался:

— Вот ты, товарищ Леонов, на сегодня старший зоотехник совхоза и секретарь парторганизации. Я обязан считаться с твоим мнением. А если завтра ты... ну, скажем... улетишь к своему братцу в его хваленый совхоз, кто будет отвечать за новую затею? Я. Лично. Цеденов...

Леонов наконец понял, чего ждет от него директор. Многозначительно улыбаясь, он сказал:

— Я не хочу прятаться за твою широкую спину. Дам документ. Ну, допустим, докладную записку, где, как старший зоотехник, скажу «добро» начинанию гуртоправа.

Цеденов не сумел, а может быть, и не хотел скрыть свою радость.

— Вот это другой коленкор! Пиши, дорогой! Сейчас же пиши. А заодно заготовь проект нашего распоряжения бригаде. За двумя подписями.

Не таким был человеком Леонов, чтобы терять время. В кабинете у себя он подмигнул тестю:

— Люблю русскую пословицу: «Куй железо, пока горячо». Может быть, это мои последние часы в совхозе. Надо их отметить хорошим делом. Садитесь, отец!

Леонов начал писать докладную записку, на что другому потребовался бы целый рабочий день, он потратил полчаса. И докладную и деловое, разбитое на пункты распоряжение бригаде. Прочтя оба документа гостю, он отнес их машинистке.

Наран глазам своим не верил. Ему и не снилось, что его заветная мечта так верно, так хорошо понята и поддержана. Но тут же он с обидой вспомнил о сыне. На какого замечательного человека он поднял руку! Ну нет... Пусть Бакур на этот раз не ждет отцовской поблажки.

С перепечатанными документами, Леонов явился к директору один. Цеденов пробежал их глазами. На докладной записке он наложил размашистую резолюцию и тут же запер ее в несгораемый шкаф. А распоряжение бригаде подписал сам и дал подписать Леонову.

— Передай гуртоправу, пусть приступает к опыту.

Вручая распоряжение тестю. Леонов думал, что тот, обрадованный, счастливый от удачи, поспешит домой. А Наран, бережно сложив и спрятав бумагу, сказал:

— Было у меня два сына: Бакур и Иван. И оба покинули меня. Не с кем мне радость разделить!

— Я всегда с вами, отец! — Голубые глаза Ивана просияли.

Тесть покосился на диван, где одиноко лежала подушка. Рослый Иван, муж его дочери, вдруг показался ему щуплым мальчиком, совсем не знающим жизни, нуждающимся не только в совете, но и в поддержке, в ласке. Старику захотелось погладить его мягкие волосы, коснуться рукой его плеча.

— Ты, наверное, хочешь спросить о внучатах?

— Да, отец.

— Что внучата? Им неплохо с бабушкой. О любимом дяде они, конечно, скучают. Справлялись о тебе. Бабушка сказала, что ты на совещании в районе...— И вдруг голос у старика дрогнул. — Мы не ссорились с тобой. Почему покинул нас? Сколько еще будешь здесь беспризорничать?

Иван вспыхнул:

— Стыдно мне, отец! Надо было сдержаться. А теперь Бакур закусил удила, не хочет мириться.

Наран встал.

— В район поеду.

— Поздно!

— На доброе дело никогда не опоздаешь.

Минут через двадцать, беспокоясь о тесте. Леонов вышел за ворота. Вдали таяло рыжеватое облачко пыли. Какой-то грузовик, подпрыгивая на рытвинах, спешил в районный центр.

Иван понял: тесть уехал с попутной машиной.

Что он будет делать в районе, Наран не знал, но сердце подсказывало, что ехать надо как можно скорее.

В грузовике немилосердно трясло, но старик не замечал этого. Горькие думы не покидали его. Он мучительно искал выход из положения. Цеденов проговорился, что Бакур уже подал заявление на Ивана. По житейскому опыту Наран знал, что бумажка, даже самая вздорная, будучи адресована, зарегистрирована, начинает жить самостоятельной жизнью и к тому же имеет способность обрастать другими бумажками, а все это часто приносит непоправимые несчастья людям.

«Если, — гневно размышлял старик. — Бакуру удастся свалить Ивана с секретарства в парторганизации, то пошатнется и репутация его как старшего зоотехника. А этим непременно воспользуется жирный лентяй Очиров. Тогда опыту в гурте грозит беда! Иной перестраховщик хуже врага...»

ОТЕЦ И СЫН

Нарана и усталость не брала. Трубка перестала дымиться, остыла, а он не замечал ничего. Шофер покосился на молчаливого пассажира, но заговорить не решился. Видимо, переживает человек. Безучастно глядя на бегущую навстречу грейдерную дорогу, на темно-бурые кустики бурьяна, Наран думал о Бакуре, думал упорно, пытаясь определить, где, когда и как потерял он свое отцовское влияние на сына. Память рисовала ему давнишнего Бакура — мальчишку-сорвиголову, играющего с одногодками в альчики, ловящего в степи жеребенка, разучивающего наизусть заданное в школе стихотворение Пушкина о калмычке. Тогда, мальчишкой, Бакур был доверчив и податлив, как воск. Лепи из него любую фигуру. Война... Она, проклятая, навязанная фашистами, разлучила его с несмышленышем сыном, а когда отгремела канонада и Наран вернулся, он увидел совсем другого юношу. Бакур огрубел, стал скрытным, разлюбил книги, даже глаза ему словно подменили, и он напоминал порой взъерошенного волчонка — того и гляди, укусит.

Решительный отказ сына учиться в техникуме, впервые насторожил Нарана — не сбивается ли парень с пути? Но влечение Бакура к машине обнадеживало. Он дневал и ночевал у старой грузовой машины, на которой ему разрешили осваивать профессию водителя.

Наран и Саглар решили, что сына надо поскорее женить. Они рассуждали, как многие родители. Сейчас парень своевольничает, а женится — переменится. И — женили, с полного согласия сына. Сноха попалась — лучше не найдешь: красавица, образованная, трудолюбивая, обходительная... Первый год совместной жизни Дулахан и Бакура успокоил Нарана. Доброе влияние молодой жены сказалось на сыне. А появление внучат закрепило семейные отношения. Но радость отца оказалась преждевременной. Бакур зачастил на

танцы, снова огрубел. И наконец эта стычка сына с зятем, из-за которой Нарану стыдно глядеть в глаза добрым людям.

В груди старика кипела обида. Он впервые пожалел, что, растя сына, пальцем его не трогал. Как знать! Если бы в мальчишескую пору Бакура проучить немножко... Так в тяжелых думах всю дорогу и промолчал старый гуртоправ.

Поблагодарив шофера, он вылез у двухэтажного дома, где помещался районный комитет партии. У секретаря никого не было. Вот он, старый дружище, — сухопарый, с неизменным седым ежиком, с усталыми серыми глазами.

Вглядываясь в загорелое лицо фронтового друга, Наран прикинул: «Интересно, съели мы с ним вместе пуд соли или еще не дотянули до пуда? Скорее всего, съели...»

Павел Васильевич усадил Нарана и заговорил с нескрываемым удовольствием, как говорят с друзьями после долгой разлуки:

— По глазам вижу, о чем сейчас будешь толковать.

Наран потрогал пальцем настольный телефон.

— Салькан успел уже позвонить?

— Директора «Степи» хлебом не корми, дай похвастаться!

Рассказывать о затеваемом опыте Нарану не пришлось: Павел Васильевич все узнал от Цеденова. Это порадовало. Нарана. Не любил он говорить о еще не сделанном.

— Салькан расписал все в лучшем виде, — сказал Павел Васильевич. — Замысел мне твой по душе. Он важен не только для твоей бригады. У меня на такие задумки нюх. Дело перспективное. Но учти — даже первый блин не должен быть комом! Особое внимание обрати на корма. Зимой сделаем контрольное взвешивание животных в твоем гурте. Все решит привес. Ну, а если кто будет мешать, не стесняйся — звони в любой час дня и ночи. Такое дело не дадим загубить...

Потом началась беседа о том о сем, вопросы о семьях, воспоминания. суждения о людях.

Нарану не хотелось говорить о семейной беде, но как обойдешь это, если в глазах Павла Васильевича читался вопрос, и он только из деликатности не заговаривал первым.

— Ты, Павел, наверное, о драке хочешь спросить? — опустил глаза Наран.

— Да что тут спрашивать? — с досадой сказал секретарь. — В заявлении твоего Бакура все описано в подробностях, не заявление — целая художественная повесть. И к ней справка медицинская. Хотел я вызвать их обоих, пристыдить и примирить. Но не тут-то было. Сынок твой показал себя

опытным кляузником. Пронюхал, что в район приехал из Элисты инструктор обкома, и — бац ему копию заявления! А инструктор — человек новый, ему такие сальто-мортале в диковинку. Теперь в обком придется отписывать, что да как.

Наран помрачнел.

— Ты, Павел, не подумай, что я дело хотел потушить, как костер в степи. Действуй, как велит партийная совесть!

Зазвонил телефон. Наран поднялся, пожал другу руку и вышел. На душе было скверно. Он шел по знакомой улице, и ему казалось, что каждый встречный знает о беде, — кто жалеет, кто сочувствует, а иной, может, и злорадствует. Разные на свете люди. Старику не терпелось поскорее разыскать сына. Где он мог быть? Гуртоправ остановил машину знакомого шофера и справился о сыне.

— Дорога в совхоз одна, — ответил водитель. Навстречу он мне не попадался, значит, где-нибудь в райцентре застрял.

Наран направился к дальнему родственнику. У его дома стоял новенький грузовик, с выключенным мотором.

Все в старике бурлило, бушевало. После разговора с Павлом Васильевичем можно было не сомневаться, что Ивана не оставят секретарем парторганизации. Недобрый поступок сына оборачивался все нелепее, безрассуднее и непоправимее.

Затевая опыт, Наран крепко надеялся на помощь Ивана, а теперь неизвестно, останется ли он в совхозе.

В доме дальнего родственника, в пустой комнате, перед зеркалом Бакур брился электрической бритой. Задиристое, мстительное чувство, владевшее им с утра, уступило место беспокойству и тревоге. С делами в районе было покончено. Пора домой. Еще недавно при слове «домой» на сердце становилось легко и светло. Машина летела, взвивая пыль, перед глазами стояли умные и добрые глаза жены, черненький сынишка, беленькая дочурка. А теперь как вернется он домой? Чутье подсказывало, что все домашние осуждают его. Вместо того, чтобы заслужить прощение обиженной им Дулахан, помириться с Иваном, не огорчать отца семейным разладом, он выставил неурядицу на всеобщее обозрение, осрамил семью Нарана на весь район, а может быть, и на всю Калмыкию.

Ему вспомнилось, как быстро спрятал в портфель копию его заявления инструктор обкома. Есть люди, которые любят копаться в чужих делах, подсматривать, подслушивать. «Эх и натворил же я дел!» — горевал Бакур.

Жужжала электробритва, зеркальное стекло отражало красивое лицо, в глазах мелькала непривычная растерянность.

Дверь открылась, и показался отец.

— Ага, вот где ты, голубчик!..

Бакур от неожиданности даже руки опустил. Бритва продолжала жужжать и вибрировать, как живое существо.

Наран вгляделся в сына: как он за эти дни похудел, посерел! Старик с трудом подавил непрошеную жалость, сжавшую сердце. Разве Бакур пожалел своего отца, мать, Ивана, жену, сестру? Нет, жалость тут просто вредна!

Теперь отец и сын стояли лицом к лицу. И Бакур понял, что от неприятного разговора не уйти.

— Выключи бритву! — велел отец.

Бакур послушно выдернул штепсель из розетки. В комнату вошла такая тишина, что стало слышно, как падают из крана капли: кап...кап...

Сын ждал упреков, осуждения, даже брани, хотя Наран изредка ругался только в степи возле гурта, а дома, в семье, грубых слов от него никто не слышал. Он и сейчас не бранился, а спокойно, но жестко сказал:

— Собирайся! Едем домой!

Эти слова прозвучали приказом. Бакур это понял, и первым движением его было подчиниться отцу. Ему показалось, что, это помогло бы найти выход из тупика, в который он сам себя загнал.

Не добрившись, он положил электробритву в футлярчик. Но что это? Взглянув в глаза отцу, Бакур неожиданно для себя сказал каким-то чужим голосом:

— Никуда не поеду. Я устраиваюсь здесь на работу.

— А жена? А дети? — Голос отца стал жестче, непримиримее.

— Для Дулахан есть место в районной больнице, а для ребят здешняя школа лучше нашей.

Говоря это, Бакур сам не понимал, что так спокойно выкладывает отцу только что придуманное.

Старик медлил: всерьез решил сын перебраться в район или в запальчивости только противоречит ему?

Повисло тяжелое молчание.

Потерев левую бровь —это всегда было у него признаком замешательства. — Наран повторил уже с угрозой:

— Едем домой!

— Не поеду!

Совершенно неожиданно для Бакура отец молниеносно взмахнул ташмаком, и мастерский удар жесткого ремня ожег спину сына.

Бакур побледнел, поймал ручку ташмака.

— Хватит, отец!

Наран тяжело дышал. Может быть, впервые в жизни старое сердце дало о себе знать. Ведь это был первый удар, нанесенный сыну. Подумать только! За всю жизнь пальцем не тронул, и вот...

Бакур это понял. Понял и другое: сопротивление бесполезно. Теперь отец пойдет на все, но настоит на своем. Стоит Нарану поговорить по душам с Павлом Васильевичем, и ни одно районное учреждение не возьмет на работу ни его, ни Дулахан. Перебраться в районный центр можно только при согласии, а может быть, и при помощи отца. Осознав это, Бакур начал поспешно собираться. Наран молча вышел, забрался в кабину еще не заведенной машины. Весь обратный путь отец с сыном не обменялись ни словом. Бакур ломал голову: что делать дальше? Предстоял неизбежный разговор с женой, с матерью. О мире с Иваном после подачи заявления не могло быть и речи. А дети?.. Дети ничего не должны знать. Бакур с горечью сознавал, что сынишка п дочка непременно встанут на сторону Ивана, а отца осудят. Он не знал, почему это так случится, но сердце подсказывало: ребята за Ивана, а не за него, их отца... Это было, пожалуй, самым обидным. Ребятишек-то ведь не упрекнешь в лицемерии. Мучило Бакура и сознание, что он мешал отцу в осуществлении его давнишней мечты.

Дома Наран, не поев, не попив, сел на гнедуху и ускакал в степь к своему гурту. Опечаленные внучата долго смотрели вслед деду. Они никогда не видели его таким суровым, таким неразговорчивым.

НАКАНУНЕ ЗИМЫ

Беда не приходит одна. На телятах появились лишаи: у одного на шее, у другого на ушах, у третьего на голове.

Эти зловещие белые пятна — блошки — заставили дрогнуть старое сердце Нарана.

Будь это в другое время, он так не расстроился бы. Завелся лишай — зови ветеринара.

Но теперь, когда молодняк оставлен в гурте, всякая беда с молодняком обязательно отразится на опыте. «Вот, — скажут, — выдумал старый чудак новый порядок —и, глядите, пожалуйста, лишай бросился на телят. Губит Наран золотое поголовье».

Позови ветеринара — во всех гуртах станет известно. Наран молча начал строгать прутики. Потом достал из шкафчика вату и накрутил ее на концы прутиков.

— Анджа! — строго сказал Наран. — Лови телят, у которых лишаи. Попробуем лечить без ветеринара.

Анджа пошел в гурт, а Наран достал бутыль с креолином.

Пораженных лишаем оказалось восемь телят. Всех их Наран тщательно смазал, бормоча себе под нос какие-то старинные калмыцкие присловья.

Во время этой лечебной процедуры Наран спросил Анджу: — А чего это вы с Улюмджи играете в молчанку?

Анджа ничего не ответил.

Наран уже три дня замечал, что Анджа и Улюмджи поссорились. Настоящей дружбы между ними и не было. Часто доходило до пререканий. Но одно дело

— мелкие стычки. Их легко потушить. Другое дело — костер большой ссоры. В степи, в пастушеской бригаде, где всего три человека, молчанка — беда.

Вечером, когда Улюмджи отпросился у Нарана и ушел в соседнюю комсомольскую бригаду, гуртоправ снова и напрямик спросил у Анджи:

— Что тут произошло?

Анджа смутился, начал подкладывать сухой бурьян в костер, хотя и без того пламя пылало вовсю.

Наран не повторил вопроса, зная, что прямодушный Анджа, поборов смущение, все выложит начистоту. Так и вышло.

Приготовив джомбо, Анджа заговорил, пытаясь скрыть обиду:

— Вы заметили, аав, что Улюмджи часто отлучается?

Как не заметить! Раньше он никуда не уходил, а выпадет свободный час, дрыхнет, как сурок в зимнюю пору.

— Я заметил это сразу, ведь мы как-никак товарищи. Он всего на два года старше меня.

— Вот не думал, что вас разделяют только два года. Улюмджи выглядит совсем взрослым.

— Рост у меня невысокий, — печально вырвалось у Анджи. — И в плечах я узок. Но вы ведь знаете, аав, что я не слабее Улюмджи, только на вид я тщедушный.

— Это верно.

— Ну вот, спросил я у него, где ты бываешь, с кем встречаешься. Вы знаете, Улюмджи не из говорливых, но все же раньше делился со мной, а тут выслушал, отвел глаза и заговорил о погоде. Закат, мол, нынче красный. Завтра, пожалуй, будет ветрено. Понял я, что у Улюмджи завелась тайна...

Анджа замолчал и снова начал подбрасывать в костер бурьян. Искры летели пучками, рассыпались и гасли, как малюсенькие метеоры.

Наран угадывал, что Андже почему-то трудно говорить, и терпеливо попыхивал трубкой.

Я не осуждаю Улюмджи, — признался Анджа. Тайна так тайна.

— Но в голосе твоем я слышу печаль...

— Это от другого, аав. Я нам скажу всю правду. Когда я учился в школе, со мной в одном классе была девочка Занда. Она приезжая. Вы ее не знаете. Очень хорошая девочка. Да теперь, можно сказать, девушка. Чистая, скромная, веселая.

— Ты с ней дружил?

— Да. А когда после школы ушел в гурт, мне она стала казаться еще лучше. Но я все думал, что это дружба.

— Думал... Значит, теперь не думаешь?

— Теперь я знаю, что люблю Занду. II буду всегда любить, что бы ни случилось.

— А сейчас в голосе у тебя не только печаль, но и тревога

— Правда, я и печалюсь, и тревожусь. Помните, перед Первым маем вы отпустили нас обоих?

— Помню.

— Мы поспешили каждый в свой дом. Но дома мне не сиделось. Я решил навестить Занду. Я и раньше часто заходил к ней. Подхожу к ее дому, окна открыты, оттуда звучит смех Занды. Я решил, что пришли подружки, и постучал по стеклу открытого окна. И вдруг из окна выглянул подстриженный и принаряженный Улюмджи. Сердце у меня сжалось, почуяв беду. Задумался. Зайти или нет? Сердце говорит: не заходи, не заходи! Я бы, наверное, и не зашел, но тут из-за плеча Улюмджи показалась Занда: «Это ты, Анджа, почему не заходишь?» Делать нечего, зашел. Лучше бы мне не заходить, а бежать оттуда. В комнате только Занда и Улюмджи. На столе две пиалы с джомбо, ваза с конфетами, тарелка с борцоками. Улюмджи вел себя так, будто он тут свой человек, желанный гость. Я прямо одеревенел. Сижу, как истукан, слова сказать не могу. И Занда, вижу, смущена, держится неестественно. Смеется громко, а на меня нет-нет да и посмотрит подозрительно, словно боится, что я потребую объяснений. А ведь она ничем не обязана мне. Я даже никогда не выдавал своей любви. Почему же она ведет себя как виноватая? Я решил, что Улюмджи бывает здесь часто и нравится Занде. Плохо помню, как дождался конца вечера. Мы ушли вместе. Шли молча. Я давно узнал скрытность Улюмджи. По при прощании он посмотрел на меня так, будто сказал: «Я люблю Занду. Она меня тоже. Девушке пора замуж. Я женюсь на ней. А ты, молокосос, зря встаешь между нами. Ничего у тебя не получится. Попробуй заикнись о своих чувствах — сразу Занда покажет тебе на дверь».

Теперь уже не Анджа, а Наран сам подбросил бурьян в костер. Потом спросил:

— Ты полагаешь, что правильно разгадал взгляд товарища?

— Да! — Анджа заторопился, заговорил горячо, с душевной болью: Всего страшнее, что Улюмджи ничего не выдумывает. Если Занда еще и не любит, то наверняка увлеклась им. А он воспользуется этим и обманет наивную девушку, а потом бросит ее и женится на богатой вдове.

— Почему же непременно на богатой и на вдове?

- Еще до знакомства с Зандой он признался мне, что хочет взять в жены богатую вдову. И даже притчу привел.

— Что же это за притча?

— В Лхассе тибетский мудрец спросил молодого калмыка: «Сын мой, если бы тебе предложили на выбор: сокровища, власть или любовь старой богатой женщины? Что бы ты выбрал?» Юноша ответил: «Любовь старой женщины». Мудрец сказал: «Ты дальновиден. С любовью старой женщины ты получишь и сокровища, и власть».

— Вот он какой... практичный, наш Улюмджи!

Костер разгорелся. Пламя выхватило из темноты неподвижное, словно выточенное из слоновой кости, скуластое лицо Анджи. И Наран без труда прочел в глазах юноши страдание, беспокойство и ревность. Старику показалось, что молодое, неопытное сердце Анджи тоскует, испытывает невыносимую боль.

— Почему так устроен свет? — пожаловался Анджа. — Девушка дружит с одним парнем, а потом у нее появляется другой, иногда и третий...

Наран вдруг вспомнил, что отпустил Улюмджи. Куда он так торопливо зашагал? Уж не к Занде ли?

Анджа дрогнувшим голосом вымолвил:

— Сейчас, когда мы, аав, ведем беседу. Улюмджи держит Занду за руки и смотрит в ее глаза...

Наран сидел не шевелясь. Чем он утешит юношу? Чем исцелит его сердечную боль? Не растут такие врачующие травы. Не бьют из земли такие целебные источники. Не выдумали медики такого лекарства.

Улюмджи вернулся на рассвете — как всегда, молчаливый, чем-то довольный, усталый.

Началась обычная работа. Гурт пасся на месте, где летом был стенной пожар. на пепелище зеленела поздняя трава. Коровы, не поднимая голов, охотно поедали сочные растения. Осеннее солнце заливало степь. Вдруг только что снявший день померк, налетели тучи, посыпал дождь. Омытые травы зазеленели еще краше. Хромовые сапоги Нарана блестели в мокрой траве. Плотный серый плащ не пропускал влаги. Вдыхая озон, подставляя лицо мелкому, бодрящему, словно нарзан, дождю, Наран шел по степи, как ее хозяин. Да, сейчас он хозяин. Но ему припомнилась другая осень, когда в степи были другие хозяева и громыхала война.

Рыскали тогда по хотонам «белые», «зеленые». Что ни отряд, то атаман. Всех и не упомнишь. Конные банды врывались в хотоны, били шомполами мужчин, женщин, грабили кибитки, угоняли скот. Наран навсегда запомнил вот такой же осенний день — солнце сменилось дождем, степь дымилась. Наран вместе с отцом пас байский скот — своего у них не было. На отце была бязевая рваная рубаха и такие же кальсоны, заменявшие брюки. Наран был в трусиках, без рубахи. Из-за холма, показались всадники. На полном галопе они пронеслись

мимо гурта в сторону кибиток. Отец и сын побежали домой. Хотон стоял неподалеку, и все же они опоздали. Грабеж был в полном разгаре. Под крики, плач и причитания женщин бандиты выбрасывали из кибиток все, что представляло какую-нибудь ценность: ковры, подушки, камзолы... Все это добро тут же грузилось на лошадей. Посреди хотона три голых калмыка железными лопатами копали яму, подгоняемые окриками и плетьми насильников. Всем было понятно, что яма могила.

В белую кибитку, стоявшую в северной части хотона. согнали всех женщин. Их, плачущих, тщательно обыскивали и выпускали по одной. Вот вывели молодую, неделю назад вышедшую замуж калмычку. Одежда на ней была изорвана, но гордо вскинутая голова, гневные глаза делали ее, красивую, еще краше.

Атаман, в черкеске и черной кубанке, подскочил к ней и бесцеремонно обнял ее. Гибким движением она освободилась от объятий и плюнула пьяному атаману в лицо. Он сначала опешил, вытер плевок с лица, а потом, наливаясь злобой, вырвал шашку из ножен. Отец Нарана бросился на выручку и встал между атаманом и женщиной. Рябой атаман с перекошенным от злобы ртом взмахнул шашкой. Маленький Наран в ужасе закрыл глаза. Раздались крики. А когда мальчик открыл глаза, отец лежал на земле, и из-под него расползалась черно-багровая лужа крови. Скаля зубы, атаман вытирал о свою кубанку лезвие шашки. Наран кинулся к отцу, еще не сознавая, что уже осиротел. Отец был мертв, тело его остывало. Прижавшись к отцу, маленький Наран закричал дико и протяжно. Он ничего не слышал и не видел. Уже потом хотонцы рассказали ему, что вскоре из-за того же холма показалась красная конница, и бандиты, побросав награбленное, вскочили на коней.

— А злодей, зарубивший твоего отца, не избежал справедливой мести, — сообщил Нарану сосед-старик. — Я взошел на пригорок и наблюдал погоню. Под атаманом был вороной конь, а у красного командира — золотисто-рыжий. Бандит на вороном отделился от своего отряда, как, бывает, сайгак-рогаль отделяется от своего стада, и взял вправо. Вороной летел, как на скачках. Но и золотисто-рыжий оказался добрым конем. Атаман отстреливался, но это не помогло. Командир настиг его и на моих глазах саблей отсек ему голову. Только два или три бандита избежали кары, остальные были порубаны красными.

В красноармейском отряде оказалось несколько земляков. Они ненадолго заглянули в родные кибитки. Наран видел их. На шлемах-богатырках солдат горели жарче степных тюльпанов пятиконечные звезды. Как хотелось Нарану уйти с ними, сесть на коня, воевать!

Но командир погладил его по голове и сказал:

— Твое от тебя не уйдет. В отряд тебя взять не могу, мал еще!

Уехали в синие дали краснозвездные богатыри. Остался Наран в хотоне.

Вечером позвал его бай и вкрадчиво сказал:

— Гурт без присмотра. Был ты при отце подпаском. Теперь станешь пастухом. Вот тебе отцовский кнут и пшеничная лепешка.

После похорон отца, не задержавшись ни на час в хотоне, Наран ушел пасти байский скот. Отец был батраком, и сыну пришлось батрачить. Такова судьба бедных. Когда это было? Давно, очень давно. От той поры сохранился, пожалуй, только отцовский кнут. А времена круто переменились. Наран и теперь ходит за скотом. Но скот-то чей? Его, его семьи, его народа. Общий скот, государственный. Потому и шагает Наран по степи, как хозяин жизни. Вот он выносил мечту о новом порядке в гурте и осуществит ее. Может быть, придется бороться за этот новый порядок. Ну и поборется! Волков бояться — в лес не ходить. Без мысли, без труда, без борьбы ничего не дается.

Наран щелкнул длинным кнутом. Раздался звук, похожий на выстрел. Коровы подняли головы, посмотрели на него большими, как всегда немного грустными глазами и снова стали щипать траву. Щелкнул кнут еще раз. Коровы настороженно застыли. Третий раз выстрелил кнут, и коровы медленно направились на стоянку. Ничего не скажешь: привычка — вторая натура.

Идя за коровами, Наран размышлял о предстоящей зимовке. Опыт ему разрешили. Значит, в бригаду дадут еще одного, четвертого человека. Хорошо бы послали сына, Бакура. Ведь сейчас все дело решают корма. Они заготовлены впрок, но далеко от стоянки. Дали бы Бакуру какой-нибудь старенький грузовичок — он бы обеспечил гурт кормом до самой весны. И сам Бакур был бы под постоянным присмотром отца. Жаль, что при разговоре с директором он не сказал об этом. Просто не пришло в голову. Но это еще не поздно исправить. Ведь нового человека пока не прислали. Придется, пожалуй, съездить в совхоз.

II снова все мысли Нарана заняли телята. Хватит ли кормов? Телятам ведь больше, чем взрослым животным, нужны витамины.

Нарану вспомнился стог сена, заготовленного в мае, в пору цветения степи. Ах, какое это сено! Душистое, как цейлонский чай. Нежное. Зеленое. А главное, богатое витаминами. Все это сено надо отдать телятам!

СГОВОР ЧЕСТОЛЮБЦЕВ

Ну и хлопотный день! Отбивали от коров телят. Трудились до ночи. Еле справились. Сегодня впервые коров вывели на пастьбу без молодняка. Крутолобые озорные телята остались в базу. Если бы не письменное разрешение на опыт, завтра или послезавтра припожаловал бы управляющий фермой Павлов с бригадой и забрал бы всех телят. А теперь — шалишь.

Наран нащупал в боковом кармане документ, подписанный директором совхоза Цеденовым и старшим зоотехником Леоновым. С такой бумагой никакой Павлов не страшен.

Наран не любил Павлова. Курносый, упитанный, коротконогий, тот постоянно жаловался на болезнь сердца и чуть что, багровея, кричал:

— Вы доведете меня до инфаркта!

Никто из подчиненных не знал, что такое инфаркт, и большинство их думало, что управляющий фермой говорит о какой-то строгой тюрьме, не нравился Павлов Нарану еще и за свою чрезмерную подозрительность. Управляющий всех и вся в чем-нибудь подозревал. В ходу у него были такие выражения: «гонится за длинным рублём», «хочет дать подножку», «подсиживает», «капает»...

В каждом человеке Павлов подозревал склочничество, карьеризм, лихоимство.

И, как часто встречается в жизни, подумаешь о человеке, а он тут как тут! Только Наран про себя беззлобно посмеялся над суетливым, недоверчивым Павловым, как увидел вдали сбегающего с холма Анджу.

— У нас гости, аав! — крикнул тот издали.

— Кто пожаловал?

Запыхавшийся Анджа выпалил:

— Приехал управляющий Павлов! С бригадой. Будут принимать телят!

Вначале Наран нисколько не встревожился. Просто подосадовал на Салькана Цеденова. Неужели этот краснобай не удосужился известить Павлова, что ему, Нарану, разрешено оставить молодняк в гурте? Зачем напрасно гонять легковушку и грузовик, отрывать от дела людей?..

Еще издали Наран увидел пустой грузовик и догадался: дальновидный Улюмджи поит гостей джомбо. Так оно и было. Павлов сидел развалившись, распаренный от чаепития, потный, с расстегнутым воротом вышитой косоворотки. Перед ним стояла пустая пиала — он уже напился. А трое сопровождающих его пили джомбо. Поздоровались. Помимо воли, Наран нащупал в боковом кармане бумажку с разрешением на опыт.

— Сдавайте молодняк, Наран Сарангович! — приказал Павлов и вытер платком пот со лба.

Наран удивленно взглянул на управляющего: что он, действительно не знает о разрешении или самоуправствует? Но Павлов был серьезен.

Наран молча налил пиалу джомбо, не торопясь выпил любимый напиток и сказал миролюбиво, но твердо:

— Молодняк я сдавать не собираюсь, и вы знаете почему.

— Ничего я не знаю и знать не хочу! — посуровел Павлов. — Телят от коров отделили? Отделили. Я привез бригаду. Сейчас она примет от вас весь молодняк.

— Телята останутся в гурте!

— Не останутся!

— Останутся!

Теперь они стояли друг против друга, как весной петухи, готовые начать сражение. Павлов так побагровел, что, казалось, вот-вот начнут лопаться у него капилляры и кровь выступит на лице, на шее. В нем клокотало негодование, обида, гнев на ослушника.

— Вы бригадир! — выкрикивал он. — Только бригадир! А я управляющий фермой! Вас много, а я один. Если каждый начнет мне перечить, дело развалится! Я этого не потерплю!

— Успокойтесь! — урезонивал его Наран. — Никакого своевольничанья тут нет. Вот...

II он подал Павлову вчетверо сложенное разрешение на опыт.

Павлов не взял, а вырвал бумажку и, прищурив левый глаз, начал ее читать. Наран следил, как менялось выражение лица управляющего. Сначала — удивление: он читал и глазам своим не верил. Потом — недоумение. Почему его не известил директор? Затем — кровная обида. Ему не подчиняется какой-

то бригадиришка. И, наконец, поиски выхода из нелепого положения. Порвать бумажку? Нет. Это все-таки документ. Может выйти неприятность. Настоять на своем? По Нарана, у которого разрешение вышестоящей инстанции, не переупрямишь. Да и не простой человек Наран. Знатный гуртоправ. С секретарем обкома чуть не друг - работали вместе. К секретарю райкома вхож. Ехать, ехать сейчас же к Цеденову и убедить, что Наран обвел директора вокруг пальца. Пожалуй, это самое лучшее!

Все это Наран прочел без труда на лице Павлова и пожалел, что выпустил из рук документ. Павлов теперь ни за что не вернет его. Так и есть! Управляющий вороватым движением сунул бумажку в портфель. На Нарана он больше не смотрел. Гуртоправ был для него сейчас ловкачом, охмурившим директора. Но он, Павлов, провентилирует директорскую голову, он разъяснит, что к чему.

— Заводи машину! — рявкнул Павлов шоферу и, несмотря на свою тучность, быстро выскочил из пастушьего домика.

Вслед за ним вышли шофер и приехавшие скотники.

В машине Павлов потер переносицу, отвинтил крышку фляжки, служившую походным стаканчиком, наполнил ее спиртом и опрокинул в горло. Спирт приятно разлился по телу. За первым стаканчиком последовал другой, третий.

Спирт немного успокоил Павлова. И он стал думать о Наране.

Павлов недолюбливал Нарана и всегда ждал от этого гуртоправа какой-нибудь неприятности. «Задается! —злобствовал в мыслях Павлов. — Ставит себя выше управляющего фермой, выше директора совхоза. Еще бы! С секретарем райкома дружит, с секретарем обкома на «ты», чуть что — в кабинет министра сельского хозяйства без доклада лезет. Обломать ему рога, этому Нарану, самое время».

Стоп, стоп! Есть выскочки и почище Нарана — Долджиев или этот — как его? не то Машкин, не то Кашкин.

«Почему же они меня не тревожат, как этот Наран? Да и что мне от того, что он выскочка? На мое место не лезет. Меня не критикует... Стоп, стоп! А может, все-таки критикует? Критикует! Убей меня бугай, критикует! И по одной линии. Пьянчуга, дескать. Павлов. Алкоголик. Ни дня без рюмки...»

Секретарь райкома в последний раз — ну буквально словами Нарана — ругал его за выпивку. Он! Наран капает всюду! Больше некому. Злоба подступила, сперла горло. Как же раньше он не догадался, что Наран Сарангов везде дискредитирует его, Павлова, как первого в районе пьяницу?

Нет, так дальше не пойдет. Он, Павлов, собьет ему рога!..

Управляющий лихорадочно соображал, как убедить тщеславного и трусливого Цеденова отменить данное им разрешение на опыт.

Надо добиться этого любыми средствами. Павлов покажет Нарану, какой он алкоголик! Пьян да умен — два угодья в нем. Вскоре шум мотора павловской машины умолк. А грузовик остался, и рабочие остались. Так приказал Павлов.

Наран шумно вздохнул. Анджа взглянул на него. Если бы Наран захотел, он мог бы и своей бригаде, и приехавшим людям поведать о том, что сейчас думает Павлов и что скажет директору. Но... слово — серебро, а молчание золото. Началась борьба, а в борьбе многословие излишняя роскошь. Наран признался себе, что в создавшейся обстановке Павлов со своих позиций действует правильно. Но тут же усмехнулся: оторопевший от уязвленного самолюбия управляющий не учитывает важного, неизвестного ему обстоятельства. Опыт Нарана одобрил, утвердил первый секретарь райкома партии...

Павлов не застал Цеденова в кабинете. Качнув упрямо головой, он постучался к Цеденову на квартиру. Он не заметил, что сначала из-за оконной занавески выглянул директор: кого, дескать, несет нелегкая? На Цеденове была полосатая пижама кофейного цвета. Он обедал.

Открыв нежданному гостю, Цеденов пригласил его:

— Садись к столу. Будем обедать

Павлов посмотрел на стол: графин водки, маринованные грибы, сыр и что-то дымящееся — не то баранина, не то телятина.

Цеденов обедал один: жена, по-видимому, куда-то уехала.

Хозяин достал из буфета вторую рюмку и наполнил ее водкой. Молча выпили. Поддевая вилкой грибок, директор спросил:

— Что-нибудь стряслось?

— И, да и нет.

— Дипломатия тебе вроде бы и не к лицу.

— Будешь дипломатом, если ущемляют законные права! Цеденов, успевший до этого выпить три-четыре рюмки, внимательно вгляделся в Павлова.

— Что-то не пойму...

— Мне тебя жалко, Салькан. Работаю с тобой пятнадцать лет и впервые вижу, как тебя облапошили.

Директор насторожился.

— На что намекаешь?

— Неужели ты не видишь, что старший зоотехник Леонов спит и видит себя на твоем месте? Он подбирался и так, и эдак, да ты был начеку и держался, прямо скажу тебе, молодцом. А тут осечка. Потеря бдительности. Больше того, ротозейство! Старого воробья, а провели на мякине.

— Постой, постой... При чем тут Леонов? Где он меня облапошил? Что-то ты, друг, путаешь.

— Директиву Нарану о молодняке давал? Давал. Директиву писал Леонов? Леонов. А прежде, чем выудить твою подпись, он и в районе, и в области через своих закадычных дружков об этом опыте растрезвонил так, что у всех в ушах зазвенело. А теперь слушай: получится у Нарана, не получится, все равно статьи в «Советской Калмыкии», а в Москве в «Сельской жизни» обеспечены. И везде жирным шрифтом: «Старший зоотехник Леонов». Его идея, его инициатива. А в нашем Министерстве сельского хозяйства только и ждут этого. Между нами говоря, у него там рука. Бац! Приказ: «Салькан Цеденов освобождается от работы в совхозе «Степь», в связи с переходом на другую работу». Бац! Второй приказ: «Иван Леонов, новатор животноводства, назначается директором совхоза «Степь»...»

Цеденов поспешно наполнил рюмки. Чокнулись. Выпили.

— И все шито белыми нитками! — распалялся Павлов. — Для выдвижения карьериста-зятя используется тесть. И тесть не в обиде. Ему обеспечивается длинный рубль...

Цеденов озирался, словно ища поддержки. А Павлов, не давая передышки, наступал:

— А этот наглец Иван Леонов совсем стыд потерял. Так называемая инициатива Нарана в партийной организации не обсуждалась, а Леонов ее поддерживает как секретарь от имени всей партийной организации. Подлог! Превышение полномочий! — И тихо, проникновенно, с печалью в голосе: — Жаль мне тебя, Салькан. По-дружески жаль. Боюсь, что тебе уже не выпутаться из тенет.

— Что?!—неожиданно взревел Цеденов. — Если на то пошло, то я еще директор! Я директиву дал, я ее могу и отменить. Отберем у Нарана молодняк, вот год для опыта и пропал. Жди тогда новых телят! А пока появятся эти новые телятки, Леонов, заметь, может и исчезнуть. Он все расхваливает совхоз «Илийский», где-то там, под Алма-Атой. Вот и пусть туда едет. Дорога скатертью!

Теперь уже Павлов торопливо наполнил рюмки. На душе у него отлегло. Цеденов, кажется, клюнул и отменит свою необдуманную директиву.

Больше они этого вопроса не касались. Очень уж аппетитно пахла баранина, зажаренная с чесноком. Обед затянулся.

— Жена в Элисту поехала, —сообщил Цеденов. —Я в квартире один. Ночуй у меня. А завтра утречком, как придет машинистка, мы этому — как бишь его? — Нарану такой меморандум преподнесем, что он своих не узнает.

Минут через пятнадцать Цеденов громко храпел, а Павлов на широком диване переворачивался с боку на бок. Сон не шел к нему. Самолюбие его было настолько задето, что, будь его воля, он приблизил бы рассвет, но окно все

чернело, даже без намека на просинь. Тикали часы. Скреблись где-то мыши. Скрипел сверчок. Долго ждал Павлов, пока начало светать. Он закрыл глаза, попробовал уснуть. не удалось. Окно посинело, потом заголубело. Утро! Он вышел на крыльцо. Красота утра внесла в его смятенную душу некоторое успокоение.

«Салькан, — думал он, — чересчур честолюбив, чтобы передумать решение о запрете затеи этого неугомонного старика Нарана».

Он не ошибался.

Часом позднее Цеденов нудно и монотонно диктовал машинистке:

— «Во изменение ранее данной директивы... опыт приостановить... весь молодняк передать из гурта бригаде, выделенной тов. Павловым... Об исполнении донести...»

Павлов с трудом сдерживал радость.

Оставшись один, он отвинтил фляжку со спиртом и выпил один за другим три стаканчика неразбавленного спирта. Он уверовал в своп домыслы, будто Наран везде разоблачает его как пьяницу.

А кто посягал на это, вызывал в Павлове неукротимую ненависть.

«Я вам покажу, какой я пьяница! — злобствовал Павлов. — И добавлял мысленно: — Пьяница проспится, а дурак никогда».

Нарану и его помощникам удалось уговорить рабочих угнать со стана пятитонный грузовик.

— А молодняк? - недоумевали рабочие.

- Останется в гурте. Очень телятам понравилось у нас.

С тем и уехали.

ЖИЗНЬ ДАЕТ УРОК

Получив на руки новую директиву об отмене эксперимента, Павлов не мог отказать себе в удовольствии лично вручить этот документ в руки зарвавшегося, вышедшего из повиновения старого гуртоправа. Грузовик запрыгал на ухабах, направляясь на стоянку Нарана. А Наран, в очередной раз смазав креолином лишайные плешины на восьми заболевших телятах, затеял длинный разговор, решив помирить своих помощников. День был удачным, скот в загоне, свободного времени оказалось в избытке.

Наран начал издалека. Попыхивая трубкой, он заговорил о героизме.

Улюмджи сказал:

— Героев надо искать на войне.

— Не говори, не подумав, — осторожно возразил Наран. — Есть примеры настоящего героизма и в мирной обстановке.

— Какие же это примеры? — немного дерзко спросил Улюмджи.

— Я расскажу вам об Оке Ивановиче Городовикове.

Улюмджи и Анджа затихли. Оба много слышали о герое

гражданской войны—усатом калмыке Городовикове, соратнике Семена Буденного. А видели его они только на портретах. Народ сложил о нем песни. Но неужели он и в мирных условиях отличился как герой?

— Он — богатырь! — мечтательно произнес Анджа и даже зажмурил глаза, чтобы лучше представить себе Городовикова. — Плечистый, высоченный, выше всех буденовцев. И сабля у него весила пуд. Не сабля, а меч!

Наран усмехнулся.

— Нет, ребята. Ростом он был ниже меня, и плечистым его никто бы не назвал. Сухопарым он был, жилистым. Мускулы и кости, ни капли жира. Вот усы у него были, правда, богатырские. Не уступали буденовским. Он был

богатырь духа. Смелостью обладал необыкновенной. Но его смелость не безрассудство и запальчивость, это умная смелость...

— Учительница в школе рассказывала нам о Городовикове, — не унимался Улюмджи, — Но она так и говорила: герой гражданской войны, замечательный военачальник.

Наран снисходительно посмотрел на строптивого помощника: и все бы ему спорить! Но спорить с ним, безусым, не хотелось, и старый гуртоправ прямо приступил к рассказу:

— Все, что вы услышите, — истинная правда! Слышал я это от самого Оки Ивановича. А он был хоть и речист, но не хвастлив. Далеко отсюда, можно сказать на краю света, в Таджикской республике есть горная область, по названию Памир. Зовут ее еще Крышей Мира. На вершинах гор там лед и снег и летом не тают, а зимой, бывает, заносит все тропы и дороги, ни пройти, ни проехать. А люди там все-таки живут. Поселки есть, даже города. Например, город Мургаб. Шел тысяча девятьсот тридцать пятый год. К той поре давным-давно бойцы Среднеазиатского военного округа взяли в плен последнего главаря басмачей Ибрагим-бека. Война была в прошлом. Давно наступило мирное время. Ока Иванович был там заместителем командующего военным округом. Пришла ранняя зима, заставшая всех врасплох. Снегу навалило на Памире видимо-невидимо. Высокогорный город Мургаб оказался отрезанным от всего мира. И продовольствием на зиму запастись не успел. Послали в этот город семьдесят пять машин с хлебом, а они застряли в горах и были погребены под сугробами. Дело плохо. Не бросать же людей на произвол судьбы! Доложили в Москву. Оттуда пришла правительственная телеграмма: назначить Оку Ивановича Городовикова чрезвычайным уполномоченным Советского правительства по спасению людей, живущих в Мургабе. Сошлись военные и гражданские власти, стали решать, как быть. Подсчитали: надо Мургабу до весны никак не меньше четырехсот тонн хлеба. На пропавшие машины надеяться нечего. Дело обсуждали люди опытные, знающие, что такое суровая зима на Крыше Мира. Там, на горных перевалах, случаются такие снежные смерчи, что всё сметают в пропасти. Как же доставить хлеб? Одни говорят — на самолетах. Смекнули: самолеты небольшие и мало их. Не подходит. Другие предлагают на яках. Як — это горный, в черных космах, бык. Правда, по горам он ходок превосходный, но сколько же надо яков, чтобы такую уйму хлеба перебросить? Пока караван идет, половину хлеба на корм израсходуешь. И это непригодно. Третьи советуют—на конях. Конный обоз тоже много корму потребует, да и не выдержат кони снежных смерчей. О машинах все помалкивают: свежа в памяти недавняя гибель машин с хлебом.

Потребовал Городовиков сводку погоды. Синоптики доносят: мороз пятьдесят градусов, буран. Снежные обвалы. А там, в горах, целый город без хлеба! Говорит Ока Иванович:

«Беру всю ответственность на себя! Хлеб повезем на грузовых машинах. Выступаем через двадцать четыре часа. Приказываю отправить в город Ош отряд саперов-подрывников, нужное количество грузовых машин, три мощных трактора».

Посмотрели военные и штатские на Городовикова и головами покачали: дескать, и сам погибнешь, и машины с хлебом угробишь. Такой пример перед глазами! А он в ответ:

«Русские воины под водительством Суворова перешли Альпы, и советские воины Памир пройдут».

Как поспоришь с Городовиковым? Ему ведь все полномочия Москва дала! Шоферов Ока Иванович отбирал самых отчаянных, самых выносливых... Машины и тракторы проверил. И сани-прицепы — тоже. Одел своих людей в белые полушубки и ушанки, обул в валенки. И начался небывалый поход. Впереди были не траншеи противника, а неприступные утесы Алтайского хребта. Уже на перевале Чигирчик и Городовиков, и все его люди поняли, что предстоит одно из двух: или совершить подвиг или вернуться обратно. Пятитонные грузовики буксовали. Дороги замело снегом. Резкий ветер при пятидесятиградусном морозе не давал дышать. Дорога прижималась одной стороной к отвесной каменной стене, а по другую ее сторону зияла пропасть. Одна пятитонка сорвалась и повисла, чудом держась на задних колесах. Спасли!

Следующий перевал оказался под снегом. Дороги не было совсем. Снег, ветер и стужа — и никакого просвета. Все встало. Тогда Ока Иванович, выйдя из кабины первой машины, взял в руки лопату. Его примеру последовало восемьдесят саперов и водителей. Снегу было так много, что пришлось рыть сквозь громадные сугробы туннель. На это ушло несколько часов. Когда туннель был готов, все облегченно вздохнули. Пустили первую, пробную машину, груженную снегом. Она прошла всего несколько метров, и снежный свод рухнул, засыпав ее. Пришлось отрывать лопатами. Отрыли. Но у людей опустились руки. Низкорослый Городовиков залез на машину и прокричал оттуда:

«Кто за то, чтобы замерзнуть и лечь в снежные могилы, поднимите руки!»

Конечно, ни одной руки не поднялось. Тогда Ока Иванович скомандовал:

«За лопаты!»

И снова начали долбить туннель. Обвал оказался большим, чем ожидали. Но чего не преодолеют люди, если нет другого выхода? Туннель восстановили.

Командир похода приказал разгрузить машину от зерна. Сняли мешки с зерном. Порожняя машина прошла туннель. Городовиков поднял мешок с зерном, взвалил на спину и понес сквозь туннель. Этот пример все поняли и стали переносить мешки. По другую сторону перевала запылали костры. Работа оказалась невыносимо тяжелой. Люди взмокли. Обсыхали у огромных костров, на которые тратилось драгоценное горючее.

Колонна машин растянулась на несколько километров. Люди с первых машин отогревались в горном селении, а последние машины только проходили туннель. Буран усиливался. К утру подошла отставшая вторая колонна. Городовикову доложили:

«Выбыл из строя трактор со снегоочистителем. А без него и шагу нельзя ступить».

Ока Иванович вызвал старого механика и двух молодых подручных. Спросил:

«Сколько нужно времени, чтобы исправить поломку?» Механик замялся.

«Суток двое, никак не меньше!» Командир нахмурил брови.

«Промедление смерти подобно!»

Механик спросил:

«А сколько дашь нам времени, командующий?» Тот взглянул на часы и отрезал:

«Двенадцать часов —и ни минуты больше!»

Старый механик крякнул и строго посмотрел на помощников.

«За работу!»

Городовиков засек время и совсем не удивился, когда ровно через двенадцать часов снегоочиститель был готов, хотя механики буквально валились с ног.

Поход продолжался. Стужа не отпускала. Начали у людей белеть носы, щеки, уши. Оттирались снегом. Товарищи поглядывали друг на друга, чтобы вовремя предупредить обморожение.

Новый перевал — новая перегрузка каждой машины. За двое суток прошли всего двенадцать километров и обломали об лед почти все лопаты. Пустили в ход взрывчатку. Героями дня стали взрывники. На беду, появились признаки горной болезни «тутека»: у больного сильно колотится сердце, пропадают силы, очень болит голова.

То сапер, то водитель выбывали из строя из-за этой болезни. Ока Иванович установил медицинский надзор — поставил наблюдателей, которые следили за каждым участником экспедиции. И строжайше приказал будить засыпавших во время похода. Уснуть значит замерзнуть! Как-то без видимой причины в пути остановилась машина. Заглянули в кабину, а там за рулем труп. Водитель

замерз. Едва вынули окоченевшее тело, за руль тут же сел другой водитель, и машина двинулась. Люди обессилели, а впереди труднейший перевал. Где-то вдали то и дело гремели взрывы. Саперы расчищали путь. В самую тяжелую минуту из снежного крошева показался всадник. Это был посланец рабочих из села Бардобы. Оказалось, рабочие расчищают дорогу навстречу хлебу. В поселке Бардоба героев ждали теплые юрты. Сразу поднялось настроение. Чаще загремели взрывы. За сутки удалось пройти восемнадцать километров. Но тут налетел снежный смерч. Бывает смерч на море — крутится с огромной силой водяной столб гигантской величины, и горе тому кораблю, который окажется на его пути. А тут такой же крутящийся столб, но не воды, а снега. Сила его неимоверна. Он сбивает с ног людей, сваливает машины, не дает дышать. И спрятаться негде. В этих адских условиях за тридцать четыре часа прошли всего три километра. На труднейшем перевале оказалась одна-единственная землянка с железной печкой. В землянке помещалось не более десяти человек. Отогревались в ней по очереди.

Весь трудный путь Городовикова мучила мысль: где же застрявшие машины с хлебом? Должны же остаться какие-то следы!

На спуске Заалайского перевала Городовиков увидел необычайной формы снежные холмы. Поработали лопатами, разворошили один такой холм, а под ним... грузовая машина! Кабина водителя пуста. Откопали другой холм, третий... Это были оставленные шоферами обледенелые, засыпанные снегом машины. Целое автомобильное кладбище...

Дальше пошло немного легче, но зато командир похода Городовиков едва не погиб...

— Как же это? — вырвалось у Анджи.

Помолчав, Наран досказал историю:

— Колонны остановились. Ока Иванович вышел на разведку дороги и отдалился на большое расстояние. Над ним поднимались каменные, покрытые снегом и льдом громады. Настала ночь. Вдруг он увидел на снегу какие-то темные пятна. Они приближались. Блеснули зеленые огоньки. Он понял: стая волков... В обычное время, когда волкам есть чем кормиться, они избегают человека. Но лютый голод заставляет зверей преодолевать боязнь, и они нападают на людей. Так и тут. Волчья стая приближалась. Ока Иванович — калмык, бывший пастух — встречался с волками в наших степях и знал их повадки. Он выстрелил из пистолета и ранил одного зверя. В мгновение ока стая разорвала и сожрала раненого волка. Но выстрел вселил в зверей страх, и они отбежали. А потом снова стали подкрадываться к своей жертве. Тут произошло еще одно непредвиденное событие. Раздался страшный гром и треск. С высот оборвалась большая глыба и, скача по уступам, пронеслась

мимо, едва не задев смельчака. Он бегом кинулся к оставленным машинам, поскользнулся и упал. Подняться не мог. Правая нога не действовала. Пополз. Силы его оставляли. К счастью, командира вышел искать шофер, обеспокоенный долгим его отсутствием. Нашел полуживого...

Наран замолк.

— А дальше? — спросил Анджа.

— Дальше все шло благополучно, если не считать, что одна машина сорвалась в пропасть; но шоферу удалось выскочить из кабины, и он остался жив. Встречать хлебный караван вышло с флагами и оркестрами все население Мургаба. Снарядили экспедицию и спасли семьдесят пять машин. И город был спасен. Вот видите, и в мирное время можно совершать подвиги. В горах Памира Ока Иванович оставил добрую память...

Анджа и Улюмджи молчали.

Наран, набивая трубку табаком, добавил:

— В отряде Городовикова были два сапера, бывшие друзья. Ко времени похода они поссорились и не разговаривали. Узнал об этом Ока Иванович и вызвал их к себе. Пришли. Молчат. Не смотрят друг на друга. Командир сказал:

«Я веду вас на подвиг. А подвиги легко не даются. В походе у нас одно святое правило: один за всех, и все за одного. А вы затеяли игру в молчанку. Стыдно мне за вас».

Один сапер, помоложе, приложил руку к ушанке и доложил:

«Поссорились мы из-за пустяков. Я готов помириться и принести товарищу извинение».

Городовиков строго посмотрел на другого. Смутился старший сапер.

«Если он приносит извинение, я тоже не хочу на него зла иметь. А в чем виноват, прошу и меня простить и забыть».

Пришли к командиру саперы врагами, а вернулись прежними друзьями. И вели себя в походе геройски...

Наран пустил клубы зеленоватого дыма. Улюмджи и Анджа сидели, понурив голову. Оба хорошо поняли, на что намекает старик.

Молчание длилось долго. Наконец Наран сказал:

— Далеко вам, ребята, до тех саперов. Кишка тонка! Начнется в степи буран, что я с вами буду делать? И меня и гурт погубите. С бураном можно бороться, только если бригада спаяна дружбой.

Анджа встал и тихо, но горячо, от всего сердца повторил слова молодого сапера. Что оставалось делать Улюмджи? Он ведь все-таки гордился, что работает в бригаде Нарана. Да и чем опасен ему, этот непохожий на мужчину парень? Занда больше не скрывает, что выбрала его. Улюмджи.

К большой радости, Нарана, Улюмджи поднялся и легонько ударил Анджу по спине. Тот ответил тем же.

Оба покраснели.

— Анджа, завари-ка чайку покрепче! — велел Наран.

Юноша обрадованно бросился к чайнику.

В это время где-то близко раздался гудок машины. Угрожающе залаяли волкодавы.

— Кто-то приехал! — буркнул Улюмджи и вышел унять собак.

Вернулся он вместе с Павловым. Наран помрачнел. С хорошими вестями Павлов на ночь глядя не приехал бы.

Управляющий потянул носом, принюхиваясь, не пахнет ли арькой. Пахло табаком и чаем. Не снимая шапки, не раздеваясь. Павлов сел и вынул из кармана бумажку.

— Читаете без очков, Наран Сарангович?

— Читаю.

— Вот. Прочтите распоряжение дирекции совхоза.

Наран протянул руку и рассердился на себя: рука дрожала.

«Старею», — подумал он и молча стал читать. Буквы прыгали. Во рту стало сухо. Сердце подступило к самому горлу.

— Завтра пришлю бригаду! — властно сказал Павлов, но поперхнулся и закашлялся. Затем повторил: — Завтра пришлю бригаду с пятитонкой. Сдайте ей по акту весь молодняк. И.., чтобы никаких фокусов!

Наран не видел, но чувствовал, что на него устремлены глаза помощников. Жизнь дает им наглядный урок. Как ему себя держать? Что ответить Павлову? Раздумывать некогда.

— Завтра бригаду не присылайте! — неожиданно спокойно сказал гуртоправ. — Меня здесь не будет! А послезавтра — милости просим.

Улюмджи и Анджа едва сдержали смех. Они сейчас гордились своим бригадиром.

Управляющий фермой неопределенно хмыкнул, не понимая, что задумал упрямый старик.

Чтобы не уронить достоинства, Павлов не выговорил, а промычал, скрывая охвативший его гнев:

— Завтра, послезавтра... Один день погоду не делает!

И, толкнув дверь ногой, вышел, ни с кем не попрощавшись. Машина ждала его. Когда гуртоправ и его помощники, опомнившись, вышли за дверь, грузовичок был уже далеко.

Холодный ветер нес серо-жемчужные облака. По голой степи катились бурые шары перекати-поля. Удалявшаяся машина чем-то напоминала это бесприютное, гонимое ветром, оборвавшее корни растение.

Наран тронул за плечо Анджу.

— Оседлай-ка, дружок, гнедуху?

Анджа хотел было спросить бригадира, куда он собрался на ночь глядя, но понял, что старик расстроен, и молча пошел седлать лошадь.

Начался мелкий осенний дождь. Но и это не удержало Нарана. Забрав привезенную Павловым бумагу, он взгромоздился в седло и махнул на прощание рукой.

ПОЗДНИЙ ГОСТЬ

Гнедуха несла Нарана в районный центр. Путь лежал не близкий, но пастух привык к превратностям судьбы. «Только бы застать Павла Васильевича. — думал он. — а я уж найду нужные слова...»

А когда над Калмыкией зажглись в просветах между туч неяркие звезды. Наран добрался до города. Определив по свету в окне, что секретарь райкома у себя, гуртоправ тщательно вытер сапоги о циновку и бодро постучал в кабинет.

— Кто там? Войдите.

Павел Васильевич встретил позднего гостя удивленно:

— Что-то ты зачастил, Наран. Что-нибудь случилось?

Гуртоправ молча положил на стол бумажку с витиеватой Цеденовской подписью. Павел Васильевич пробежал глазами документ и тут же поднял с рычага телефонную трубку.

— Соедините меня с совхозом «Степь». Вызовите директора товарища Цеденова. Если спит, пусть разбудят. Дело неотложное!

Нарану он сказал:

— Я не прошу у тебя объяснений. Все ясно. Скажи одно: когда ты получил эту бумаженцию?

— Сегодня. Из рук самого управляющего. Не поленился, приехал. А то, случалось, и по полгода не бывал в бригаде.

— Так!

Замолчали друзья. Молчал телефон. Длинными-длинными казались Нарану минуты. Тиканье часов отдавалось в сердце.

— А это верно, что управляющий фермой Павлов не расстается со спиртовой фляжкой? — как будто случайно спросил Павел Васильевич.

— Я с ним никогда не пил, — отозвался Наран. — Пьяным его видел раза два, да и то в нерабочее время. Чужие слова передавать не люблю. Нужна тебе полная информация — у тебя есть средства ее достать. Я могу ошибиться. А сейчас я и пристрастным могу оказаться.

Павел Васильевич усмехнулся.

— Правду говорят, что у тебя золотое сердце. Даже врага своего боишься обидеть.

— Какой же он мне враг, этот Павлов?

— Лютый враг! Он заподозрил, что ты его в пьянстве разоблачаешь. А пьянчуги таких разоблачений не прощают. Это ты запомни, Наран! Павлов и краснобая Цеденова заставил плясать под свою дудку. —И жестко добавил: — Ну, да я их выведу на свежий ветерок!..

Наконец голос телефонистки сообщил:

— Товарищ Цеденов на проводе.

Наран замер. Он удивился, как мог так измениться голос Павла Васильевича. Ни жестокости, ни беспощадности. Спокойствие, усмешка, доброжелательство.

— Это вы, Цеденов? Извините, если разбудил. Дело не терпит отлагательств. Мы тут на бюро райкома обсудили инициативу гуртоправа Сарангова и единогласно поддержали ее. Далее: мы решили предложить передовым совхозам нашего района поставить контрольные опыты... Что? Что? Вы не стрекочите по-сорочьи. Говорите раздельно. Слышимость отличная...

Павел Васильевич подмигнул Нарану и продолжал:

— Почему вас не вызвали на бюро райкома? Да потому, что вы не член бюро. А вопрос настолько ясен, что ваше присутствие было необязательным. Зачем отрывать от дела занятого человека?.. Что? Повторите... Ах, вон что? Вы гордитесь, что славный почин зародился в вашем совхозе? Мы это отметили. Ждем, что вы поддержите всеми имеющимися у вас средствами опыт гуртоправа Сарангова. Учтите, директор, райком берет проведение опыта под свой неусыпный контроль. Со всех, кто будет ставить палки в колеса, снимем стружку. Будьте уверены! Рука не дрогнет... Что? Не узнаю вас, Цеденов. Я-то, грешным делом, считал вас удельным князьком, а вы, оказывается, пример дисциплинированности. И решения бюро райкома прямо-таки предугадываете. Ну что же, желаю успеха! Спокойной ночи.

В трубке что-то шумело, звенело, но Павел Васильевич спокойно положил ее на рычаг.

— Вот видишь, Наран, какой ты беспокойный! Пришлось поднять человека с постели. Впрочем, он бессонницей не страдает и быстро уснет.

Взглянув на часы, Павел Васильевич спросил:

— Ты как сюда добрался? На коне?

— На гнедухе.

— Ночуешь у меня?

— Не могу, Павел. Гурт оставил на попечение двух безусых.

— Ну хоть поужинай, чайку попей!

— Спасибо. Не могу. Душа неспокойна. Ребята мои спать не лягут, будут ждать с ужином и добрыми вестями.

— Жаль! Угощать можно, а неволить — грех! Скачи. — И напоследок Павел Васильевич предупредил: — Не думай, Наран, что тебя оставят в покое. Готовься к борьбе! У меня безошибочный нюх: Павлов и Цеденов сделают все, чтобы сорвать твой опыт. Держись! Я не сторонник того, чтобы мелочно опекать всякие начинания. Но будет невмоготу — звони или приезжай. Живому делу замереть не дадим! Но и ты не забывай, что без борьбы ничего не дается. Борись. Наран, борись!..

Наран крепко пожал другу руку в стремительно вышел из кабинета.

По небу ползли косматые тучи. Дождь усилился. Но гуртоправ не замечал ничего. По-юношески легко он вскочил в седло и поскакал в степь.

В ушах звучало дружеское напутствие: «Борись!»

РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Дождь зарядил, видимо, недели на две. Его шум — слитный, протяжный, монотонный похож на гудение миллиардов сердитых шмелей. Истомившаяся, по влаге за сухое лето земля, жадно впитывала в себя дождевую воду. Пила и не могла напиться. И только там, где недавно белели, отливая слюдой, солончаки, вода задерживалась на поверхности, образуя плоские лужи. Ветер гнал чугунно-черные тучи с запада на восток. Эти тучи шли нескончаемым потоком: проносились одни, надвигались другие. Дни стали короткими. Только начался серый день, глядишь, наползли сумерки. А там и ночь — дождливая, холодная, беззвездная. Бригада больше не выводила гурт на пастбище. Готовясь к зиме, люди выхаживали скот в загоне и зорко следили, чтобы молодняк не захирел, не убавил в весе. Работы стало больше. Но новизна опыта захватила. И никто, даже Улюмджи, не жаловался, не ворчал.

Наран учил помощников:

— Настает пора, когда судьбу опыта решат корма. Молодняку нужны витамины. Летом, на подножном корму, скот подучает витамины в траве. А поздней осенью, зимой? В силосе, ребята, витаминная сила, в силосе: кукурузный силос, имеющий запах хлеба и спирта, содержит весь набор витаминов. Много витаминов в свежем, майском сене. Вот и будем давать молодняку каждый день силос и майское сено. Помните, как мы заготовляли силос и косили траву в мае? Теперь в этом наше спасение!

И Анджа и Улюмджи ловили слова наставника и выполняли его советы.

Одна беда — скирды сена были далековато. А машины не было.

Мычали неокрепшие телята. Анджа говорил:

— Витаминов просят!

Цеденов и Павлов и не подумали прислать еще одного рабочего в бригаду. Помалкивали они и о машине для перевозки кормов. Это больше всего беспокоило Нарана. Он хорошо знал, что зима, как всегда, нагрянет неожиданно. На всю зиму подвезенного на баз корма, конечно, не хватит. А зимой, по снегу, издалека подвозить их будет очень трудно. Наран сердцем чуял, что все делается Павловым нарочно, чтобы сорвать опыт. Не мытьем, так катаньем!

Эх, Бакур, Бакур! Вот бы, где ему поработать!

Но о Бакуре ни слуху ни духу. Послали его перевозить камыш с дальнего озера. Уехал, как в яму провалился! Даже весточки не шлет.

Бригада занимает двухкомнатный дом; в левой половине живет молодежь, а в правой — Наран. Так во всех бригадах.

В комнате Нарана добрая печка с вмазанным в нее котлом. Наран сидит на низком топчане у стола с зажженной лампой. Лампу приходится зажигать чуть ли не с обеда. Пасмурно в степи. Все заштриховано дождем, и сумерки подползают с каждым днем все раньше и раньше.

Оседлав нос очками, старик читает любимого Лермонтова, прислушиваясь к дождю и к бурлящей в котле воде.

Пока в ушах звенит золотой лермонтовский стих, Наран забывает обо всем. Но стоит оторваться от книги, мысли возвращаются к привычному: коровы, телята, корма... Хорошо, что помирились помощники. После молчанки сейчас не наговорятся. От Анджи Наран узнал, что Занда уехала в Элисту, учиться в десятом классе. Недавно пришло от нее письмо. Может быть, она и не такая легкомысленная, как показалось Нарану. Вот догадалась же написать одно письмо обоим поклонникам сразу. Тон письма, как уверяет Анджа, веселый, дружеский, без намеков и недомолвок: ни невест, пи женихов. Просто товарищ пишет товарищам...

Наран зорко следит за тем, как Улюмджи и Анджа кормят и поят скот. Ничего не скажешь — оба стараются. Нормы кормления не занижены. Хотя взвешивания еще не было, но и на глаз можно определить, что скот сытый, упитанный. Особенно радует гуртоправа, что не худеют телята. И лишаи понемногу сошли на нет без ветеринара. Наран составил для молодняка «меню» и следит, чтобы корм телята получали по этому «меню». С большими боями добыл Наран немного концентратов. Если удастся сохранить молодняк без падежа, не захиреет он до весны, пожалуй, снова приедут в бригаду Нарана гуртоправы со всей республики перенимать опыт.

Не о почете думает Наран. Видел он в жизни всякое. Не в почете дело. Есть у всякого настоящего человека чувство ответственности перед собой, необходимость самоуважения, голос совести. Ведь по зову совести начал

старый гуртоправ опыт, отдавая себе полный отчет: загуби он зимой молодняк— не простят ни Павлов, ни Цеденов. Забросают грязью, ославят на всю степь. Но Наран спокоен: все идет пока как должно.

Вдруг сквозь шум дождя откуда-то из глубины степи, из потемков пробился неспокойный звук автомобильного мотора. Кто же это? Цеденов? Нет, не в его характере беспокоить себя в такую непогодь. И Павлов не поедет в дождь. Кто же? Ждать пришлось недолго. Молодежь услышала звук мотора минутой позже, но на то она и молодежь, чтобы реакция была немедленной.

Набросив брезентовый плащ с капюшоном, из дому выскочил Анджа. Наран улыбнулся: мальчишка, верно, думает, что кто-то везет новое письмо от Занды. Держи карман шире!

Вскоре все разъяснилось. Приехала автолавка рабочего кооператива. Автолавка развозит продукты и товары по пастушьим становьям. На торговом языке становья называются «точками»; различаются точки по именам бригадиров-гуртоправов. Выходит, продавец прибыл на точку Нарана. Ну что же: точка так точка!

Наран был рад приезду продавца, хотя ему, в сущности, ничего не было нужно. Вот разве черного молотого перца купить? Но его ждала нечаянная радость. В комнату ворвалась в клеенчатом плаще, из-под которого белела полоса больничного белого халата, сноха Дулахан.

— Доченька! Как же ты в такой дождь?

— В степи очень хорошо, отец. Знаете, я сегодня впервые открыла, что дождь пахнет арбузом.

Молодая женщина сбросила плащ. Наран снял очки.

— Как здоровье, отец? Я ведь за вас отвечаю, как врач.

— На здоровье пожаловаться не могу. Вот только сплю неспокойно. Мысли разные...

— Могу вам дать снотворное. Но злоупотреблять нм не нужно. Любое лекарство приносит не только пользу, но и вред.

— Верно говоришь. Лекарство что пчела: и мед даст, и жалит.

Пока Дулахан раздевалась и поправляла прическу, Наран поднял крышку котла. Комната наполнилась запахом вареного мяса, лаврового листа, перца и еще какой-то душистой, одному Нарану ведомой травки, которую он бросал в котел.

— Через две минуты буду кормить тебя ужином.

Сказав это, Наран заметил, что выразительные глаза снохи лучились. Она была чем-то радостно возбуждена.

Подойдя к столу, Дулахан торопливо выложила из сумки подарки: пачки легкого табака, двух вылепленных из глины лошадок, бутылку «Столичной».

«Дулахан никогда не привозила водки, —пронеслось в мыслях старика. — Это неспроста. Она с добрыми вестями».

Дулахан опередила вопрос свекра. Ей самой не терпелось — хотелось порадовать его.

— Отец, у нас большая радость! Из Москвы пришла телеграмма. У нашей Кишгте родился сын!..

Наран просиял. До старости он сохранил способность от всей полноты сердца радоваться и не скрывать этого. Что-то гордое, торжественное, праздничное появилось в его вспыхнувших глазах.

— Спасибо, доченька, за добрую весть! Наконец-то родился мой Джиргалчик!

— Вы сказали: Джиргал? Таким будет его имя?

— Да, имя его будет Джиргал.

— А если бы родилась дочка?

— Она была бы названа Джиргалой. Джиргал — жизнь. Что во Вселенной выше и краше жизни? Пусть ребенок носит имя земной жизни!

Радость переполняла Нарана. Он не мог сидеть, стоять, а взволнованно ходил из угла в угол и в эту счастливую минуту верил, что теперь все будет хорошо. И корма будут, и гурт с молодняком перезимует отлично, и блудный сын Бакур поймет свои ошибки, помирится с Иваном, и любимый зять вернется в семью. Нарану за долгую жизнь привелось видеть, как многие калмыцкие роды распадались, уходили дети — сыновья и дочери из родительского дома. Но это случалось обычно по вине родителей, навязывавших молодым старые обычаи и верования. Молодых же тянуло из затхлой обстановки на свежий воздух, к новой, разумной жизни, свободной от лицемерия, от религиозного ханжества. Правда, не все старые обычаи плохи, и хорошие надо уметь хранить от забвения. Разве плохо, что у калмыков уважение к старшим до сегодняшнего дня крепко хранится молодыми? У него, Нарана, все происходило не так, как в других многолюдных семьях. Не он, старик, и жена Саглар тянулись к старым обычаям, а их молодой сын Бакур, разрушивший мир и счастье большой семьи. Поэтому Нарана не покидала надежда, что все образуется. Бакур с Иваном подадут друг другу руки, и птица счастья снова сядет на Нараново плечо.

Старик ходил по комнате, не замечая, что мясо сварилось, Дулахан хозяйничает за столом, а из соседней комнаты следят за бригадиром две пары молодых глаз.

— Отец! — позвала Дулахан.

Наран оглянулся и счастливо рассмеялся.

— Я все забыл от радости! Ужинать! Будем ужинать. Анджа. Улюмджи!

А те только этого и ждали. Они почтительно поклонились Дулахан и, увидев на столе непривычную в этом доме водку, переглянулись: что случилось? Но приличия требовали, чтобы первым заговорил и поделился радостью сам Наран. Он и не заставил себя ждать.

— Садитесь, безусые богатыри! Будем пировать. Пришла депеша: дочка родила сына! Позовите и продавца автолавки.

Анджа быстро сходил за продавцом. Все уселись за стол. Дулахан наполнила рюмки.

Наран взял рюмку, поднял ее и торжественно произнес: — на свет появился внук Джиргал. Пусть он растет крепким и здоровым. Верный сын - богатство Родины! Честный сын - счастье родителей! Пусть будет таким мой Джиргал!

— Да будет так! — хором ответили присутствующие.

Выпили за здоровье и долголетие новорожденного. В уголках губ Дулахан дрожала улыбка.

А старый гуртоправ снова сказал Дулахан:

— Не забудь, передай всем в семье! Имя внука — Джиргал! Скажи, так велит дед. Поняла?

— Поняла, — ответила Дулахан и стала вынимать из котла мясо. Она была смущена тем, что привезла одну бутылку водки.

За столом четверо мужчин, и бутылка уже опустела. Но когда она ставила мясо на стол, продавец вынул из кармана еще бутылку и, распечатывая ее, сказал:

— Дядя Наран, благословите мою дорогу в трудное торговое дело.

— С удовольствием! — улыбнулся Наран и обратился к молодому продавцу с йоролом — благопожеланием: — Пусть твои руки точно отсчитывают метры, а твои глаза зорко видят отметки на весах!

— Если он хочет хорошо заработать, пусть лучше идет к нам в гурт, — сказал Анджа.

Все засмеялись.

После ужина продавец ушел в «молодежную» комнату, а свекор остался наедине со снохой. Старик бережно потрогал глиняных лошадок.

«Как дед любит внуков! — растроганно подумала Дулахан. Он боится неосторожно поломать игрушки».

— Вот эту лошадку вылепила Наташка, — ласково произнес Наран.

— Как вы узнали?

— Ну, это нетрудно. Смотри: ноги у лошади, как у сайгака, а голова, как у свиньи. Внучка еще малонаблюдательна. А это работа Кевлюна. У его коня хвост трубой, а уши большие, как у осла. Он катается на ослике соседа и по

памяти вылепил ослиные уши. — Тут же Наран деловито спросил: — Какие еще новости дома?

— Живем вчетвером: мама, я и дети. Бакур все еще возит камыш с дальнего озера и домой глаз не показывает. Иван так и не вернулся. Он уже не секретарь парторганизации. Живет у себя в кабинете и по ночам пишет диссертацию. По просьбе мамы я навестила его и обрадовала вестью о сыне. Но он и тут не дрогнул. «Приедет Кишгте, говорит, мы с ней обсудим, где нам дальше жить». А больше новостей нет.

Наран опустил голову, вспомнив русскую поговорку: «Ложка дегтя портит бочку меда», и быстро спросил:

— А когда приедет Кишгте?

— Как только выпишут из родильного дома. Ждать уже недолго.

В дверь постучали. Вошел продавец, он же шофер.

— Дождь перестал, можно ехать.

Дулахан стала собираться. Гостей провожала вся бригада.

Полнеба очистилось от туч. Светила круглая луна, похожая на медный щит. Фары машины, как два ножа, разрезали ночную синеву. А вскоре, мигнув на прощание, пропали красные сигнальные огоньки...

Гуртовщики возвратились к Нарану. Бригадир набил трубку свежим табаком, закурил, и комната наполнилась запахом меда. Анджа наблюдал, как синий дымок доходил до потолка, а оттуда опускался вниз. Это волнообразное движение дымка почему-то напомнило ему строки из «Джангара». На минуту представился скачущий степью былинный богатырь — копыта коня чуть касаются земли, а голова воина достигает неба.

Долго в этот вечер говорили пастухи о гурте, коровах, быках, телятах. Поздно ночью, когда ушли помощники, Наран блаженно вытянулся на постели. Он думал не только о рожденном в Москве внуке, а и о крутолобых, резвых, большеглазых телятах, которые не должны потерять ни килограмма веса. И во сне в эту ночь Наран видел не внука, а все тех же теплых, игривых, упитанных телят с прорезывающимися, мягкими на ощупь рожками. Ни один из них не пойдет на бойню. Их раздадут в разные гурты, чтобы несли они в степь славу красно-лысой калмыцкой породы, в которой быки — красавцы и коровы — красавицы, медалисты и медалистки Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства.

ОТСТУПАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Проснулся Наран, как всегда, до восхода солнца. Два окна их с Саглар комнаты выходили на запад, и утренней зари из них не было видно, но старик хорошо представлял степную зарю поздней осени. Край неба сначала бледнел, делался дымчато-сизым, а потом, вероятно, заиграли, хотя и бледные, но по-своему разнообразные краски: зеленая, палевая, нежно-оранжевая. Солнца, наверное, сегодня не будет видно. Оно футбольным мячом выпрыгнет из-за края земли и вскоре исчезнет для глаз. Не в отдельных облаках с причудливым очертанием, а в непомерно большой, закрывшей все небо туче.

Наран поднялся, сел на край кровати и опустил босые ноги на сайгачью шкуру, заменявшую коврик.

Подумалось о сайгаках. Говорят, эти горбоносые винторогие существа сохранили в неизменности свой антилопий род с тех древних времен, когда земля была на многие тысячелетия моложе и по ней ходили, трубя, украшенные громадными бивнями мамонты.

Наташка хотела вылепить из глины мамонта, но не смогла, не хватило умения. Удивительно смышленая, не по летам развитая девчонка! Вчера он случайно услышал, как она очень похоже передразнивала бабушкино присловье о нем: «На заре встанет и ходит, ходит». Вот и сейчас он встал на заре. Что бы ни говорили бабушка и внучка, а Наран ничего с собой поделать не может. День, начатый после восхода солнца, он и за день не признает. Такие запоздалые дни у него в жизни по пальцам перечтешь: все они прошли в госпиталях после ранений. А сейчас он совершенно здоров — вот и поднимается до солнца.

Конечно, прежде всего Наран подумал о гурте, не плохо идут дела, совсем не плохо. Правда, машины Цеденов так и не дал, но изобретательный Анджа

смастерил четырехколесную тележку, и вместе с Улюмджи они подвозят сено даже из дальней скирды.

Зимой будет куда труднее, но ребята не унывают:

— Сделаем сани!..

Телята растут, и нет никаких признаков, чтобы они начали терять в весе. Это и радостно, и тревожно.

А вдруг начнут хиреть? Ведь это первый опыт! И следят за ним сотни, а может, и тысячи глаз! Со своим «меню» для телят Наран ездил к старшему зоотехнику республики, и тот долго расспрашивал пастуха о рационе, о водопое, о поведении телят, а «меню» одобрил.

Наран бесшумно оделся, сунул ноги в теплые домашние туфли и на цыпочках вошел в детскую комнату. Наташка во сне раскраснелась, руку подложила под правую щеку, дышит ровно, а одеяло, конечно, в ногах. Кевлюн, наоборот, одеяло натянул на голову и храпит, как полагается мужчине.

Поправив Наташкино одеяло, дед с любопытством стал рассматривать игрушки внучат. С потолка свешивается на шнуре поблескивающий алюминиевый самолет. Справа от него, на полу, окрашенный в черный цвет миниатюрный подъемный кран. Рядом с ним маленькая, мышастого цвета «Волга». А в углу — табун раскрашенных лошадей: серый в яблоках жеребец охраняет золотисто-рыжих, надо полагать дойных кобылиц. Несколько поодаль — коровы. У них особенно удались похожие на полумесяц рога. А далее целый зверинец: белый, в черных звездах барс в прыжке, охотящаяся на мышей лисица — корсак, заяц с настороженно поднятыми ушами, сайгак на бегу и всякая степная мелкота — суслик, тушканчик, ящерица... Часть животных вылеплена из глины, другая вырезана из дерева, высечена из камня.

Наран в свободное от работы время всегда что-нибудь мастерит. Вырезает из дерева, лепит из глины. Получаются игрушки. Он дарит их внучатам. Подражая деду, лепят и дети. Отличить их работу от дедушкиной не так уж трудно. Вон сидит заяц без уха. Это, конечно, работа Наташи. Девочка мастерила его в присутствии деда. Но стоило деду уйти, и терпения у Наташки хватило только на одно ухо. Так и остался бедный зайчишка одноухим. Серый волк — скульптура Кевлюна. Но что это за волк? Голова зверя напоминает почему-то коровью. Уши — собачьи, а одна задняя нога, несомненно, поросячья. Дедушка иногда рассказывал внукам о волках. Много их рыскало в калмыцкой степи когда-то. Резали звери овец в отарах, телок в стадах. По звериной своей жадности пожирали одну-две овны, а губили сколько успевали! Много горя приносили волки пастухам и табунщикам. Теперь в Калмыкии серошкурых хищников нет. Перевели. И сразу же больше стало сайгаков. Вот кому доставалось от волчьих стай. Ни разу не видел Кевлюн

живого волка. Когда он, по рассказам дедушки, начал лепить клыкастого зверя, в глазенках его стояла добрая морда рыжей коровы, которую бабушка доит дважды в день. Всплывало у мальчика обличье лохматой собаки Барг, хрюкающего в сарае розового курносого поросенка. Единственно, что удалось Кевлюну, — это брюхо зверя. Оно совсем втянулось в туловище. Сразу видно — голоден волк. Кевлюн, помнится, объяснял:

— Нашу собаку бабушка кормит. А кто будет кормить волка? У него бабушки нет.

На это находчивая Наташка заметила:

— Волк любую бабушку обманет, а Красную Шапочку съест.

Вспомнив все это, Наран покачал головой, улыбнулся, погладил глиняные и деревянные игрушки и осторожно ушел, не потревожив внучат. Одевался и обувался старик бесшумно.

На улице никого. Тихо. Не шелохнется тополиная веточка. На пожухлой траве, что твоя ртуть, блестит тяжелая холодная роса. Еще денек-другой — и вместо росы засеребрится иней.

В парке, раскинутом в центре поселка, словно охраняя людское жилье от вражьих захватчиков, стоит выше всех деревьев бронзовый боен с гранатой в руке.

Это памятник однохотонцу, Герою Советского Союза, сержанту Эрдни, отличившемуся в грозный 1942 год на Дону. Его крылатые слова: «Наши не отступают!» — облетели всю Калмыкию.

Помянул любовно героя, Наран пошел куда глаза глядят. Незаметно для себя он очутился перед конторой совхоза. Там, в служебном кабинете, живет теперь человек, близкий, как сын, — старший зоотехник Иван Леонов.

Наран вошел в контору. Дверь в кабинет полуоткрыта, а вот и сам Иван, его широкая спина, голова, склонившаяся над столом. Пишет. Он тоже, как Эрдни, одержимый. Сняли с секретарства, дали выговор, пришлось уйти из дому, ставшего родным, а он, как всегда, в труде. Пишет диссертацию. Она поможет таким, как Наран, практикам животноводства удвоить, утроить поголовье скота, дать народу больше шерсти, кожи, мяса, молока, масла...

Наран неслышно вошел в кабинет, подкрался к Ивану и неожиданно положил руки ему на плечи.

Иван неохотно поднял голову, обернулся и как-то устало, почти страдальчески улыбнулся.

«Похудел, бедняга, за это время!»

Обида и гнев на Бакура, принесшего семье столько горя, поднялись в Наране, но он удержался от резких слов. Разве не с радостной вестью о рождении сына шел он к Ивану?

Старик заставил себя улыбнуться.

— Поздравляю тебя, сынок, с наследником. Поверь, что нет меры моему стариковскому счастью!

По глазам Ивана гуртоправ понял, что тот сейчас заговорит о партийном взыскании, и не дал высказаться зятю. Легонько лохматя мягкие волосы Ивана, он произнес:

— Обо всем наслышан, сынок. Дулахан приезжала в гурт и рассказала. — И, не утерпев, сам задал вопрос: — Резко критиковали на партийном собрании?

Вначале, пока молчали инструктор обкома и мои «доброжелатели», все шло спокойно. Ну вышла ссора, ну не поладили. Чего в многосемейных домах не бывает? Но дело круто повернул инструктор. Оратор он, видно, опытный и страсти разжигать большой мастер. Сказал несколько фраз, но каких? Там были и «бдительность», и «гнилой либерализм», и «беспринципность», а начал он с заявления, что, дескать, собрание идет «на низком идейном уровне». Салькан Цеденов этого только и ждал. Теперь я раскусил его. Вероятнее всего, Павлов сумел убедить директора, что я мечу на место Цеденова и поэтому всячески подсиживаю. Ему ведь неизвестно, что еще в прошлом году меня вызывал министр сельского хозяйства и предлагал должность директора совхоза «Степь». Еле отбился я от назначения. Ведь мне для диссертации важно быть именно старшим зоотехником: все гурты перед глазами, гуртоправы — мои первые помощники в научных исследованиях. Только диссертация и спасла меня от назначения директором. На партсобрании я даже пожалел, что не сказал в свое время Цеденову об этом. Посчитался с его самолюбием. Мой проступок интересовал Салькана меньше всего. Он просто воспользовался случаем и стал добиваться исключения меня из партии, чтобы потом вынудить уйти из совхоза. Это подтвердилось, когда выступил Павлов. Уверяю вас, отец, что это бесчестный человек и демагог. Он в самых резких выражениях обвинял меня в хулиганстве, в моральном разложении, в карьеризме и прочих грехах. Вот тут-то я и понял, что Салькан плясал под павловскую дудку.

В сердце Нарана поднялась буря.

«Все это дело рук Бакура! — думал старик. — Не подай он заявление, не пришлось бы так страдать Ивану...»

Вслух он сказал:

— Народная мудрость гласит: «Полосы у человека внутри, а у змеи снаружи». Теперь, сынок, ты знаешь, кто тебе друг, кто враг. — Помолчав, добавил: — Бакура давно пет дома. Может быть, ты зайдешь повидать Саглар, ребятишек?

Иван раскрыл папку, вынул мелко исписанные листы. Я написал письмо Кишгте в родильный дом. Вот...

Иван протянул листки. Наран пошарил в карманах и вздохнул:

— Забыл дома очки. Без них глаза мои не разбирают букв.

— Хорошо. Я прочту. Ну, вначале я подробно описал, что произошло. А заканчивается письмо так: «Теперь ты знаешь все. Я ничего не преуменьшил и не преувеличил. Ты —хозяйка дома и мать моего сына. Как решишь, так и будет. Если захочешь жить отдельно от родителей, дай телеграмму. Я в лепешку расшибусь, а достану жилье, чтобы нашему Джиргалу было тепло и светло. До твоей телеграммы буду жить в служебном кабинете».

«Телеграммы еще нет?» — поспешно спросил Наран.

Жду с часу на час. По моим расчетам, письмо она получила вчера вечером.

— А если дочка не захочет покинуть нас?

— Я немедленно переберусь к вам. На Бакура я не держу зла. Думаю, он уже осознал, что поступил необдуманно

— Я, сынок, тороплюсь в гурт, но ради такого случая повременю. Об одном прошу: как получишь телеграмму, извести меня и Саглар.

— Непременно, отец. Любой текст телеграммы узнаете немедленно.

— Вот спасибо!

Наран ушел. Попадись ему сейчас навстречу Бакур, он отыскал бы увесистые и жесткие слова. Но Бакур был далеко — у заросшего камышом полуозера, полуболота.

Домой старик возвратился угрюмым. От утренней бодрости не осталось и следа. Дома он застал только Саглар и Наташку. Дулахан ушла в больницу, а Кевлюн — в школу. Наташка рисовала. На листке альбома лежала раскаленная солнцем песчаная пустыня. С синего неба лили прямые лучи жаркого солнца. По горячему песку шел верблюжий караван. Никаких тонов, никаких оттенков. Цельные чистые краски. Рисунок трогал наивностью, непосредственностью. Наташке приходилось видеть верблюдов, и они вышли похожими.

— Молодец, внучка! — похвалил дед. — Твои верблюды лучше волка у Кевлюна.

Саглар видела, что муж только притворяется веселым. Он улыбался, а глаза смотрели печально. Она решила выпроводить внучку на улицу и поговорить с Нараном. Но тут под предводительством Кевлюна в дом ворвалась целая ватага школьников. На белых рубашках алели пионерские галстуки.

— Дедушка, за тобой пришли! — объявил Кевлюн.

А школьники глядели на Нарана почтительно и восхищенно.

— Дедушка! Ты забыл... Сегодня открытие новой школы! — прощебетала Наташка, ловя его руку.

На открытие школы собрались стар и млад — почти все жители поселка. Флаги, транспаранты, сосновые ветки и оркестр с медными трубами — все явилось как бы само собой. Под звуки военного марша люди хлынули в школу. Гуртоправу почудилось, что это идут гвардейские полки под продырявленными пулями боевыми знаменами через Бранденбургские ворота в Берлине.

А когда пришлось выступать, Наран заговорил о счастливых малышах мирного времени и закончил так:

— Пусть детям сопутствует мир! Пусть пушечные жерла не изрыгают огонь и смерть. Пусть наши мальчики и девочки не знают, что такое война, горе и страдания!..

Все били в ладоши, зная выступает не только гуртоправ, а и старый солдат, их земляк, Наран — золотое сердце.

КОГДА ПАСТУХИ ГОРДЯТСЯ

Калмыки говорят, что «у зимы шесть пар ног»; обломав пять пар, она приковыляет на шестой. Это надо понимать так: сколько раз снег в начале зимы ни тает, зима непременно ляжет сугробами, но в этом голу зима нагрянула сразу. На охваченную морозом, будто кованую землю выпал снег и больше не растаял. Второй снегопад закрепил зиму. Раскинулся снежный ковер. Белизна снега поразительна. Перед ней шкурка зайца-беляка кажется серой, белые гуси — сизоватыми, сивые лошади — грязными. И на этом фоне особенно рельефно выделяется стоянка гурта: длинный сарай, сделанный из травы — курая, круглый баз и домик, крытый шифером. Невдалеке от стоянки заложен силос. Его возят на баз на могучих волах, впряженных в сани.

Почуяв острый, отдающий спиртом запах силоса, заметно подросшие телята бегут навстречу. Стоящий в санях Улюмджи вилами отгоняет их. Быков ведет Наран. Как только воз становится вровень с кормушками, Улюмджи уверенными движениям бросает корм в ясли. Телята устремляются к силосу и со смаком, шумно поглощают его, как недавно еще сосали молоко. Наметанный глаз Нарана следит за каждым теленком: как он ест, не похудел ли, не тускнеет ли шерсть... С тех пор как телят оставили в гурте, не было дня, чтобы о них не проявлялась забота. Холили их, кормили, чистили, лечили и думали о них, думали ежедневно.

Тревожиться пока было не из-за чего. Телята хороши! Хотя их еще не взвешивали, но и на глаз можно определить, что растут они, как и предполагал Наран, нормально. Но впереди длинная зима! Трудно сказать, что ждет гурт в зимние стужи.

Гуртоправ оглянулся на Улюмджи.

Тот выпрямил спину и взмолился:

— Остановите волов, дядя Наран! Надо отдохнуть.

Наран не спорит. Предыдущие сани разгружал он сам и не просил отдыха. Удивительно быстро устает этот здоровяк Улюмджи. Ну ничего. Ссориться с ним не надо. Совсем недавно, перед первым снегопадом, в бригаде произошла ссора. Молодые помощники Нарана крепко поспорили.

Когда в гурте оставили телят и работы прибавилось. Наран хотел увеличить бригаду на одного человека. Но на дыбы встал Улюмджи:

— Справимся и без подмоги, зато заработаем больше. А если брать подмогу, овчинка не будет стоить выделки!

А когда тот же Улюмджи на своих плечах почувствовал, что работа чуть ли не удвоилась, он за глаза начал обвинять бригадира в жадности:

— Мы не двужильные! Кормим и поим и телят, и коров, а другие в карты играют, на танцы ходят. Так ишачить я не согласен!

Анджа не выдержал и вступился за бригадира:

— Ты же сам протестовал против лишнего человека!

— Я не бригадир. Это его дело решать вопрос о составе бригады. Да чего хорошего ждать от старика...

— Не смей так говорить о дяде Наране! Он работает в два раза больше, чем мы. Кто ночами караулит? Он! Кто ремонтирует окна, двери, кормушки? Он! А днем работает наравне с нами.

— Я не виноват, что ему по ночам не спится.

Когда Наран вошел в комнату молодых, они стояли друг против друга, засучив рукава. Увидев бригадира, присмирели и разошлись по своим койкам. По двум-трем словам Наран понял, о чем шел спор. Но старик не знал, что пришло новое письмо от Занды. Обращалась девушка к обоим гуртовщикам, но по крайней мере две трети письма посвящались Андже. Это взбесило Улюмджи. Спором о Наране молодые гуртоправы, вольно или невольно, прикрывали спор о Занде. Наран догадался об этом, когда юноши, заняв койки, перекинулись несколькими словами.

— Ты знаешь, Анджа, — невинным тоном сказал Улюмджи, — я скоро женюсь на Занде. Приглашаю тебя на свадьбу.

Свистун! — вырвалось у Анджи.

— Может быть, ты запретишь мне это?

— Замолчи!

— Я ее целовал.

— Не смей пачкать чистую девушку!..

Видя, что дело может дойти до настоящей потасовки, Наран, уходя, сказал:

— Анджа, я совсем забыл. У меня лежит письмо, адресованное тебе.

Думая о Занде, споря о ней с Улюмджи, Анджа не сомневался, что письмо от нее.

Письмо у Нарана действительно было, но не от Занды, а от директора вечерней школы. Сообщалось о зачислении Анджи в школу. Наран, чтобы потушить ссору, задержал Анджу.

- Завидую теперешней молодежи, — сказал он, раскуривая трубку. — Все школы, все вузы распахнули перед ней двери. А я с трудом окончил пять классов. Тогда только начиналась коллективизация. В хотоне был один коммунист и два комсомольца. Грамотных почти не было. Пять классов считалось тогда чуть не высшим образованием. Меня назначили избачом, потом выбрали в батрачком. Вооружен я был наганом и классовой ненавистью. Скоро я сделался грозой степных богатеев. Научился разгадывать все кулацкие хитрости и заставлял кулаков подписывать трудовые договоры, защищавшие права батраков. В тысяча девятьсот двадцать девятом в меня стреляли. Кто стрелял — не знаю. За одно ручаюсь ружье держали кулацкие руки. Первая пуля дзенькнула над головой. Вторая угодила в ребро. Выйдя из больницы, я вступил в партию Ленина. Вскоре был избран председателем сельсовета. Потом партия послала работать председателем колхоза. Два года учился на курсах. Прямо с курсов стал директором машинно-тракторной станции. А потом — война. Когда же было учиться? Разве только в госпиталях, когда залечивал раны. Последнее, самое большое ранение получил на немецкой земле в Берлине. Долго лежал без сознания...

Трубка дымила. Анджа сидел у стола. Свет керосиновой лампы падал на лицо старика. И Анджа поразился тому, как изменился бригадир, какую тоску выражали его усталые, выцветшие глаза.

— Подобрали меня санитары чужой части, — продолжал Наран. — При штурме Берлина это было обычным явлением. Все передвигалось, все изменялось. Наши безудержно рвались к рейхстагу. Когда в медсанбате пришел в себя, обнаружил, что в карманах нет документов. Будто горячим свинцом резануло по сердцу. Я знал, что такое на фронте потеря партийного билета. Как только смог взять в руки перо, сразу написал в свою часть. Ответа не было. Писал в большие и малые партийные органы, искал свидетелей ранения, эвакуации, в госпиталь. Отовсюду — молчание. Кончалась война, а таких, как я, бездокументных, оказалось немало. Как определить, кто действительно утратил партбилет при обстоятельствах трагических, а кто ловчился во фронтовой неразберихе, пытаясь спрятать трусость, а то и измену? Моральная угнетенность, молчание в ответ на мои письма не давали заживляться ранам, на госпитальных койках в разных городах пролежал

многие месяцы, казавшиеся годами. Писал, писал — безответно! Может быть, я был недостаточно настойчивым, но так вышло. Не восстановили меня...

Наран проговорил с Анджи до полуночи.

А рано утром на стоянку нежданно негаданно нагрянул на «газике» Павлов и с ним двое рабочих на тракторных санях. Наран увидел управляющего в окно и почуял недоброе. Не было еще случая, чтобы Павлов приезжал с благими намерениями.

Управляющий вылез из машины и, отдуваясь, подошел к гуртоправу, на нем был белый полушубок и баранья ушанка. Поражало медно-красное лицо. Много раз Павлова подводил цвет лица. Он всех уверял, что краснолиц от рождения: дескать, кровеносные сосуды очень близко расположены к коже. Но злые языки утверждали, что дело не в кровеносных, а в стеклянных сосудах с горячительными напитками. А знавшие его поближе — прямо говорили о некой фляжке со спиртом. На недобрые мысли наводил и запах спиртного перегара, исходящий от Павлова. Сведущие люди говорили, что он ежедневно пьет не арьку, не вино и даже не русскую водку, а неразбавленный спирт. Наран вспомнил, как часто Павлов ссылался на цвет лица, скрывая пьянство. И сейчас лицо его густо багровело, а перегаром несло больше обычного,

После того, как управляющий фермой вручил Нарану бумажку, запрещающую проведение опыта, — ту самую, которую оставил у себя секретарь райкома, Павлов ни разу не наведался в бригаду Нарана и, уж конечно, не осмеливался забрать телят. Наран уже думал, что управляющий оставил его в покое, узнав о поддержке райкома, и помалкивает из осторожности. Что же заставило его снова приехать сюда, да еще в такую стужу? Наран не сомневался, что надо ждать подвоха.

Со стороны сеновала к управляющему подошел, держа на плечах вилы, Улюмджи.

Не поздоровавшись с гуртоправами, Павлов приказал:

— Быстрее грузите силос!

— Как это так быстрее? — растерялся от неожиданности Наран. У нас у самих силоса в обрез. Вы же знаете, что мы оставили в гурте молодняк.

— Я сказал быстрее! Повторять приказания не люблю!

— У нас молодняк...

— «Молодняк, молодняк»! — грубо передразнил Павлов, и его маленькие медвежьи глазки сверкнули недобрым огоньком. — Я хозяин фермы! Половину вашего силоса забираю для других гуртов. И сено тоже. — Отведя в сторону злые глаза, добавил: на нашем гурте свет клином не сошелся. У меня, кроме вашего, много гуртов, и за все болит душа. Да я и не обязан, черт подери,

давать вам объяснения! Мое дело — приказывать. И снова повторил, как заклинание: — Я хозяин фермы!

Неожиданно для Нарана в разговор вступил Улюмджи.

— И мы хозяева! — сказал он твердо и взял вилы на изготовку. — У нас в гурте молодняк, и мы никому не позволим, чтобы наш спаренный гурт обрекли на голодовку!

— Я управляющий!..— взревел Павлов.

— А мы гуртоправы! — перекричал его Улюмджи.

— Щенок!

— Ах, я щенок? Ну погоди...— Улюмджи плотно сжал губы и с вилами наперевес пошел на Павлова, как ходит сибиряк-охотник на медведя.

— Значит, убить меня решили? — прохрипел, отпрянув, Павлов.

Наран цепко ухватился за вилы, удерживая разгорячившегося помощника. Он понимал, что малейшая царапина будет Павловым использована, чтобы раздуть дело о покушении на управляющего фермой, при исполнении им служебных обязанностей.

Никто вас убивать не собирается! насмешливо сказал Наран, —Просто нам стыдно слушать вашу неразумную команду. Мы своими руками заготовляли силос. Берегли его. Пасли гурт, пока не выпал снег...

— Ну и что? — спросил Павлов, все еще косясь на вилы.

— И сено берегли. А теперь вы отнимаете у нас корма, обрекая разрешенный нам опыт на провал. Не свой скот мы кормим, а государственный. Будем жаловаться на вас!

Лицо Павлова еще более побагровело. Он стоял, налитый злобой, непреклонный, упрямый, забыв о границах дозволенного. Наран понял, что управляющий действует с молчаливого согласия Цеденова. Оба они — и Павлов и Цеденов спали и во сне видели, что опыт Нарана провалится и они отправят строптивого гуртоправа на какой-нибудь захудалый гурт, в самое глухое безводное место пусть бедует вдали от семьи, от поселка.

Мысль Нарана работала лихорадочно. Как поступить? «Телефон, — подумалось ему, — телефон, телефон!» По телефону можно сейчас же поставить в известность о творящемся безобразии Ивана. Пусть он уже не секретарь парторганизации, но он все же старший зоотехник совхоза и может приказать Павлову не брать корма. А еще лучше позвонить в райком. Уж Павел-то Васильевич найдет способ приостановить это вопиющее безобразие. Телефон... Где в степи ближайший телефон? И вдруг Наран вспомнил, как Улюмджи, посещавший соседнюю комсомольско-молодежную бригаду, рассказывал, что молодые гуртоправы протянули полевой кабель до совхоза. А через совхозную телефонную станцию установили связь с районом. До этого

полевого телефона километров пять-десять. Гнедуха доскачет туда — Павлов даже силос погрузить не успеет.

Павлов меж тем не мешкал. Поняв, что бригаду Нарана грузить не заставит никакая сила, он скомандовал своим людям как можно быстрее и плотнее наполнить силосом прицепные сани.

Наран не стал даже седлать гнедуху. Вскочил на нее и был таков. Гнедуха всегда понимала хозяина. Она сразу пошла в карьер Нарану вспомнился фронтовой случай, когда ему единственный раз пришлось быть связным. Генерал послал его в соседнюю дивизию с каким-то важным секретным пакетом.

«Не случайно выбрал вас, старший сержант, — сказал тогда генерал. — Знаю вас как бесстрашного разведчика и хорошего конника. В случае чего...— Генерал нахмурился.

— В случае какой беды пакет уничтожить! Враг пакет может получить только от мертвого. Вы меня поняли?»

«Так точно! Понял».

«Попадете в безвыходное положение, пакет уничтожьте! Возьмите с собой фляжку бензина и спички...»

Вот так же, как сейчас, мчался Наран и так же у коня ёкала селезенка. Нет! Уничтожать пакет не пришлось. А вот коня подкосил осколок. Хороший был конь. Темно-гнедой масти, сухой, поджарый. Погиб боевой товарищ! До командного пункта километра два пришлось добираться пешком. А сейчас? Как это похоже на фронтовую обстановку. Дело решают минуты. Гнедуху не надо было погонять — сама набирала скорость.

Вот и стоянка комсомольско-молодежной бригады. Рывок, еще рывок... Спасибо, гнедуха!

Наран соскочил с лошади и бросился к комсомольцам. Они, конечно, знали знатного гуртоправа. Вчетвером вышли навстречу.

— Телефон!..— задыхаясь, крикнул Наран.

Молодой бригадир сразу понял: беда! Нарану немедленно требуется связь.

— Нет связи, Наран Сарангович! Вчера произошел где-то обрыв, не позднее чем завтра обнаружим, восстановим.

«Завтра для меня будет поздно!» — глухо сказал Наран, вскочил на гнедуху и ускакал.

Он живо себе представил похиревший, исхудавший от бескормицы чистопородный молодняк, — телят, которых качает от слабости ветер. «Это вредительство! — шептал он. — Вредительство отбирать у нас корма!..»

Люди Павлова между тем работали усердно. Драгоценный, пахучий, с таким старанием заготовленный силос грузился на тракторные сани: один грузил, а

другой ногами, обутыми в кирзовые сапоги, уминал его в санях, чтобы побольше увезти. Впрочем, сани и так ломились от груза.

Павлов крикнул:

— Довольно!

Тракторист бросил в снег окурок.

Павлов подошел к «газику».

— Заводи! Теперь они и без нас обойдутся.

Силос погружен. Забираясь в кабину, Павлов не видел, как Улюмджи подмигнул трактористу Дорджи.

— Зайди-ка, приятель!

«Газик» тронулся и скоро исчез.

Улюмджи отрывисто сказал Андже:

— Вари баранину, готовь джомбо! Дорогой гость у нас — тракторист.

Анджа не заставил повторять просьбу и подбросил в печь дров.

Улюмджи вкратце объяснил Дорджи обстановку:

— Этот пьянчуга Павлов срывает большое дело. Надо задержать трактор.

Дорджи усмехнулся:

— Павлов всем нам осточертел из-за самодурства!.. Варите, не торопясь баранину. Трактор никуда не пойдет!

Он вышел из сарая.

Когда Наран заглянул в жарко натопленную «молодежную» половину, он увидел такую картину: за столом сидели его помощники и угощали вареной бараниной тракториста и двух рабочих.

— А где Павлов? — спросил он.

— Поехал опохмеляться! — буркнул Дорджи.

И все засмеялись.

— А силос?

— После обеда разгрузим. Кормите ваших телят.

Наран все понял, и лицо его просветлело.

А через час на «Волге» с двумя рабочими подкатил Иван Леонов. Узнав о случившемся, он сказал:

— Как жалко, что я опоздал! Этого я ему, самостийнику Павлову, не прощу! Я сам давал наряд на вывоз силоса, но не из вашей, а из соседней бригады.

И, отмахнувшись от павловского самоуправства, как от овода или назойливой мухи, он обнадеживающе сказал Нарану:

— А мы приехали проверить привес молодняка. — И дал команду: — Начинайте!

Рабочие наладили весы. Недавно Леонов объезжал бригады, ухаживающие за молодняком отдельно от гуртов. Как и в прошлые годы, телята успели

отощать, стали походить на гончих собак. У Нарана же в бригаде молодняк выглядел отлично. Интересно, какой они дадут привес?

— Готовы весы? — спросил Леонов.

— Готовы!

Рабочий отделил от стада красного бычка и невольно погладил его по шелковистой шерсти. Глаза у бычка весело блестели, сам он резвился, пытался бодаться. Это очень удивило рабочего, успевшего привыкнуть к плохому виду телят в других бригадах. Схватив бычка за правое ухо, он разглядел и выкрикнул его номер. Другой рабочий нашел этот номер в журнале, и бычка загнали на площадку весов. Рабочие переглянулись. Иван улыбнулся. Наран напряженно ждал.

— За месяц теленок прибавил двадцать килограммов! — выкрикнул рабочий.

Бычка столкнули с весов, и он кинулся к стаду.

— Погоди писать! — вырвалось у Нарана. — Взвесим еще раз. Тут нужна точность. Следите за весами все.

Бычка снова приволокли на весы.

— Двадцать!

Просто не верилось! Все улыбались, радовались, словно на празднике, и не заметили, как на грузовике подъехал одетый в белый полушубок Цеденов. Спрыгнув с машины, он с недоумением посмотрел на тракторные сани с силосом, подошел к весам, коротко поздоровавшись со всеми. Ему очень хотелось сказать: «Зятек и тесть... не жди правды от такого семейного взвешивания». По удержался.

К весам волокли самого низкорослого теленка. Цеденову он показался маловесным. «Килограммов двенадцать прибавил, подумал он злорадно. — Посмотрим, товарищ Леонов, как ты вышибешь тогда меня из директорского кресла!»

Теленок упирался, его тащили силком. Поставили на весы. Взвесили. Цеденов, не доверяя рабочему, чуть не носом ткнулся в цифры на весах.

— Привес восемнадцать килограммов! — выкрикнул рабочий.

Цеденов не верил своим глазам.

— Взвесьте еще раз!

Теленка, успевшего соскочить с весов, вновь втащили и взвесили.

— Точно, восемнадцать! — повторил рабочий.

Цеденов не мог скрыть разочарования. Дальше взвешивание проходило перед его глазами, но ему казалось, что все происходит во сне, настолько ошеломляли результаты взвешивания. Веселые выкрики рабочего били его, как кувалдой.

— Привес восемнадцать килограммов!.. Двадцать один килограмм!.. Двадцать килограммов!.. Девятнадцать с половиной!.. — продолжал называть цифры рабочий.

Цеденов не без основания считал себя опытным животноводом. Многое в этом деле стало для него законом, не подлежащим изменениям. Годы, десятилетия на его глазах зимами под открытым небом молодняк хирел и терял в весе. Спасала весна, но и сочная весенняя трава не могла восстановить упущенного за зиму. А тут он зимой присутствовал при чуде! Телята — зимой! — дали неслыханный привес. Что же? Шулмус, что ли, помогает Нарану? А может быть, это не чудо, а простая морока, хитрая махинация зятька и тестюшки? Не проверить ли самому все как следует? Оттеснив плечом рабочего от весов, Цеденов снял рукавицы, поймал за правое ухо телочку, рассмотрел ее номер, выкрикнул его и потащил животное к весам. И надо же такому случиться: привес у телочки оказался всего-навсего четырнадцать килограммов!

«Ага, злорадно подумал Цеденов, четырнадцать это не двадцать два! А что, если они каждому теленку приписывают по восемь-девять килограммов? Я вас, молодчики, сейчас выведу на свежую воду!»

К удивлению, Нарана. Леонова и рабочих, Цеденов сбросил с себя полушубок и начал одного за другим подтаскивать на весы сильных, рослых телят. Но телочка оказалась единственной удачей директора. Веселые выкрики рабочего у весов звучали, как пощечины для Цеденова:

— Двадцать!

— Двадцать два!

— Девятнадцать!

— Двадцать три!

Обмана не было. Цеденов каждую цифру проверял сам. Ему стало холодно. Он надел полушубок. Зорко оглядев молодняк, он понял, что и на глаз, без весов, можно определить большой привес у гладких, упитанных телят.

«Прав эта бестия Наран!»

Не сказав никому ни слова, не попрощавшись. Цеденов уехал. Взвешивание продолжалось до сумерек. Рабочие признались, что видят такой привес впервые. Анджа отпросился в вечернюю школу. Улюмджи занялся телятами, которые успели проголодаться.

Наран с Леоновым зашли в дом. Тесть быстренько согрел чай. Иван долго молчал, потом, смотря в пол. глуховато сказал:

— Спасибо, отец!

— За что «спасибо»?

— Я не знал, что вы писали в райком о моем деле. Меня снова вызывали туда. На этот раз вел собрание сам Павел Васильевич. Разбирались объективно и справедливо. Выговор с меня сняли. Ограничились порицанием. Предлагали снова рекомендовать секретарем парторганизации в совхозе, но я отказался. Ведь мне надо закончить диссертацию, совместить это с партийной работой трудно. Со мной согласились. Правда всегда берет верх!

Наблюдательный Наран заметил: Иван что-то не договаривает. Наполнив пиалы чаем, он сказал:

— Скрываешь, зять, какую-то радость?

— Верно, отец. Телеграмма сегодня пришла от жены. Едет с сыном!

Наран сразу засуетился.

— Тулуп мой возьми! Смотри, чтобы Джиргальчик не озяб.

Оба задумались, каждый о своем. Но на одном перекрестке мысли их пересеклись. И оба знали это. Счастье пришло в дом Нарана. Но оно было неполным из-за Бакура.

— Где он? — Наран не назвал даже имени сына, но зять понял, о ком идет речь.

— Бакур все еще возит камыш. Он умышленно попросился в дальнюю командировку. Не хочет жить вместе со мной. А я живу, отец, в вашем доме. Так хочет мать моего ребенка.

Помолчали. По выражению стариковских глаз Иван был убежден, что тесть думает о дочке. Где сейчас она?

...А Кишгте была в поезде. Отчетливо стучали колеса: «Усни, усни...» За окнами чернела ночь. В вагоне все спали. На нижней полке сладко посапывал ее сын Джиргал. Она уснуть не могла. Ровно лила свет настольная лампа рядом с раскрытой книгой. А черноокая, смуглая, тонкая в талии степная красавица Кишгте отдалась воспоминаниям.

...Она и ее четыре подруги в Москве, в знаменитой Тимирязевской академии.

Однажды ее новая знакомая. Зина, волнуясь, рассказала о необыкновенном парне. Зина поздно возвращалась из города в дачную местность. В темном углу неожиданно ее взяли под руки двое неизвестных ей парней.

Один из них хриплым голосом предупредил:

— Не брыкаться, не кричать, а то вот она... финка! Снимай сама с руки часишки, с плеч пальтишко.

У Зины похолодело на сердце, отнялся голос, ноги стали ватными.

Откуда ни возьмись - русый плечистый парень. С ходу он сшиб с ног одного хулигана. Другой убежал. Русый бережно взял Зину под руку, довел до общежития и, не назвав даже своего имени, ушел. Зина долго искала своего спасителя и наконец нашла. Им оказался студент-третьекурсник Иван Леонов.

Зина пригласила его в гости, позвав и Кишгте. Встреча состоялась Зина лелеяла мысль, что Леонов неспроста спас ее. Может быть, она ему поправится или давно уже нравится. Вышло иначе. Голубоглазым статным Леонов почти целый вечер разговаривал с одной Кишгте, словно они были наедине. Девушка смущалась. Ей казалось, что глаза у Леонова добрые, теплые. Говорил он сдержанно, скромно и умно.

Практику Леонов проходил в калмыцком степном совхозе. Лютовала зима. Разразился обычный в этих местах буран. Иван Леонов, заменявший зоотехника, объезжал с бухгалтером пастухов. Буран застал их в пути, далеко от жилья. Леонов был в этих местах впервые, а бухгалтер не помнил места стоянок.

Кружили без толку три часа. Заблудились. Лошади устали. Товарищ Ивана так замерз, что не мог говорить. Тогда Леонов укрыл его своим полушубком, положил в сани, а сам побежал, держась за передок. Вскоре и он изнемог. Что делать? Подкопав большой сугроб, он загнал в «пещеру» лошадей с санями. Снег валил, покрывая толстым слоем и людей и конем. Иван, чтобы не закоченеть, прижался к лошади. Только утром проезжие заметили странный сугроб. Откопали. Иван обморозил руки, а бухгалтера положили и больницу. Об этом написали в академической многотиражке.

Чем больше приглядывалась Кишгте к человеку с широкой русской душой, тем больше он привлекал ее. Такой простоты, душевной силы, скромности она еще не встречала в молодых людях.

На первых же каникулах, когда разлука с Иваном стала неизбежной, Кишгте поняла, что полюбила Леонова. Полюбила так, что даже день без него стал в тягость. Говорят, любовь проверяется разлукой. Вероятно, это так и есть. После каникул Кишгте и Иван поженились. Леонова направили на работу в совхоз «Степь», а Кишгте продолжала учиться. После рождения сына она получила от мужа письмо, где описывалась домашняя обстановка. Что-то будет дальше? Она хорошо знала строптивый нрав Бакура.

Чем ближе поезд подходил к родным местам, тем тревожнее становилось у нее на душе. Так. не сомкнув глаз, она доехала до знакомой станции и в окно увидела Ивана.

Машина стояла поодаль. Иван вбежал в вагон, обнял жену, потом склонился над сыном.

— Похож на тебя, — сказала она.

Иван заторопился. Хотя было еще тепло, он закутал жену и ребенка в бараний тулуп и не давал жене в дороге разговаривать. А Кишгте твердо решила помирить мужа и брата.

С решением пришло и спокойствие. К большому отцовскому дому «Волга» подкатила в полдень. Встречали Саглар, Дулахан и Наташка. Наран был в степи, Кевлюн — в школе. Срочные дела помешали Ивану быть дома.

— Где брат? — с тревогой спросила Кишгте, когда женщины остались одни.

Дулахан отвела глаза, и Кишгте заметила, как похудела золовка. А Саглар, несмотря, на радость, от приезда дочери и внука, опустилась на первый попавшийся стул и заплакала.

Дулахан призналась:

— Мы его не видим больше месяца. Может быть, он и совсем не вернется.

Только к ночи пришел Иван. В спальне Кишгте спросила: — Как ты считаешь, Ваня, можно вернуть Бакура домой? Иван ответил не сразу. Глядя в глаза жене, он признался: Опасаюсь, что он разведется с Дулахан. А виной всему я. Мое необдуманное поведение. Я себе этого никогда не прощу!

— Не говори так. Ты был прав! Ты у меня хороший... Самый лучший!

НЕТ НИЧЕГО ПОЗОРНЕЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Бакур все возил и возил камыш. Казалось, конца этому не будет. Пока он нагружал и увозил полную машину камыша, рабочие разгребали снег, и появлялась новая, еще большая груда. Бакур возненавидел камыш, его зеленовато-бурый цвет, жесткие стебли, хрустевшие, когда их грузили. Даже машина казалась ему непослушной, враждебной. Того и гляди, забуксует, а то и вовсе станет среди белой степи.

Ночевал он в чужом, незнакомом общежитии, где жарко топили, много курили и чересчур громко разговаривали. Он не прислушивался к разговорам, нн с кем не беседовал, не ронял ни одного лишнего слова. Прежнего — веселого, общительного, находчивого на меткое словцо Бакура, словно подменили.

Он боялся сознаться себе, что тоскует по жене, детям, большому светлому дому отца, где недавно еще царили мир и дружба. Особенно острой была тоска по Дулахан. Издали она казалась красивее, статнее, а главное, добрее и милее, чем он знал ее до сих пор. И умной! Кто он, Бакур? Как высоко ни ставь его квалификацию, он все-таки только водитель, шофер. В наши дни и желторотые мальчишки умеют водить машину. Прошел курсы — и получай водительские права. А Дулахан — врач, да к тому же еще и хирург. От нее зависит спасение людей. Чтобы стать врачом, кроме десятилетки надо закончить медицинский вуз, пройти практику, защитить диплом. Ему, Бакуру, об этом и мечтать нельзя. А он — чего греха таить! — задирал перед ней нос, заставлял разувать себя, даже руку поднял на нее... Если говорить правду, Иван правильно заступился за Дулахан.

Колеся по обширному степному району, Бакур наблюдал немало людей, живших по старым обычаям, вот и усвоил самые отвратительные из них.

Как только Бакур приезжал домой, он, бывало, делился с отцом своими наблюдениями, хвалил иные обычаи. Старик втолковывал сыну, что за видимым молодечеством некоторых почитающих старину калмыков скрываются жестокосердие и дикость. Бакур вспомнил даже, что когда он начал однажды спорить с отцом, то отец привел старинную пословицу: «Чем говорить человеку, который не поймет тебя, лучше на рогах коровы сеять зерно».

Так, значит, Иван прав? Дойдя до этой мысли, Бакур вскакивал с топчана, ерошил волосы, и глаза его загорались злостью. Нелегко было самолюбивому, резкому Бакуру признать Иванову правоту. Особенно же бесило то, что Иван, не родной, пришлый в семье, живет себе припеваючи в отцовском доме, а он, Бакур, родной сын, наследник, скитается по чужим углам, обедает в столовках и чайных, спит на соломенных тюфяках, дышит махорочным дымом общежитий. И камыш!.. Проклятый камыш, чтоб ему ни дна ни покрышки! С каждым днем он становился ему все ненавистнее. После слуха, что Иван вернулся домой, вестей из семьи не приходило. Только недавно в «Советской Калмыкии» Бакур прочел скупые строки заметки об удачной операции, проведенной его Дулахан. Да его ли она? Может быть, чувствуя себя брошенной, она проводит время в дружеской компании врачей? Они ей и по образованию, и по работе ближе, чем он, отец ее детей.

От этих мыслей щемило сердце, хотелось бросить все, сесть за баранку и прямым путем помчаться в родной поселок, в отцовский дом. Но больное самолюбие, гордыня мешали этому, и он закрывался с головой тощим байковым одеялом и старался думать о чем-нибудь другом. Доканала его ночь в незнакомом, маленьком, полузанесенном снегом поселке.

Ночь застала Бакура в пути. Он попросился ночевать в крайнем, смотрящей окнами в степь саманной хижине.

Волком выла метель.

В хижине горела оранжевым огнем маленькая электрическая лампочка.

Старый калмык согрел чаю.

За занавеской кто-то слабо стонал.

— Кто-нибудь болеет у вас? — осведомился Бакур.

— Снохе что-то неможется. Простудилась, должно быть. Вскоре явился сын хозяина — красивый, но несколько мрачноватый, суровый калмык, как оказалось, рабочий ближнего совхоза.

Он молча разделся и скрылся за занавеской. Послышался скупой разговор. Муж высказывал неудовольствие, что жена захворала.

«Да разве она виновата, что заболела?» — удивился Бакур, но смолчал. Старому калмыку было стыдно за сына, но он пытался это скрыть, рассказывая длинную историю о пропаже коровы.

Вдруг занавеска заколыхалась, и оттуда проворно, как сайгак, метнулась молодая, одетая в ситцевое платье, женщина. Лихорадочно блестящие глаза, распушенные волосы, яркий румянец все изобличало в ней больную.

За ней выскочил сын хозяина хищный, беспощадный.

— Я заставлю тебя уважать мужа! — закричал он.

И Бакур понял, что парня развезло в тепле от ранее выпитой водки.

Потом послышалась грубая брань, и молодой красавец сжал кулаки.

Вот-вот посыплются удары на больную женщину — худую, желтую, изможденную. Стало ясно, что нескладно живется ей с красавцем.

Нападение пьяного на больную было столь омерзительным и бесчеловечным, что Бакур, не раздумывая, выскочил из-за стола и с силой схватил хулигана за запястье.

— Угомонись! — тихо сказал Бакур. — Или я тебя...

И тут же вспомнил, что Иван поступил с ним так же, когда он, Бакур, поднял руку на милую, беззащитную Дулахан.

Это сравнение — точное, верное, неожиданное — болью отдалось в груди Бакура, и он, бросив обессилевшего пьяного красавца, быстро оделся и, несмотря на метель, уехал.

С этой ночи Бакур затосковал.

Он больше не искал себе оправданий.

Да, он виноват перед Дулахан, перед Иваном, перед отцом, перед всей семьей.

Через два дня Бакур ночевал в поселке.

Неожиданно приехал незнакомый, видно недавно нанявшийся на работу в совхоз человек и в числе других новостей привез весть об отце.

Расспрашивать чужого человека Бакур считал ниже своего достоинства, но не пропустил ни одного слова, когда незнакомец заговорил об известном по всей Калмыкии гуртоправе Наране Сарангове.

— Чует мое сердце, что скоро разразится скандал! — говорил незнакомец. — Наран Сарангов ставит ценный опыт, а директор совхоза Цеденов и управляющий фермой Павлов срывают его. Да как! Тихой сапой!

В общежитии стало тихо.

— Это как же они могут срывать? Наран и сам с усам, — заметил кто-то.

— А так и срывают! — упорствовал рассказчик. —У Нарана все было подсчитано и рассчитано. Сколько на зиму надо силоса, сколько сена. И кормил он скот по полной норме. Они же думали сначала, что телята у Нарана начнут

чахнуть, похудеют. А как взвесили, оказалось — у телят небывалый привес. Тогда Нарановы недруги совсем взбеленились. И начали перекачивать силос и сено в другие гурты. Хоть и никудышные начальнички, а власть у них. Наран туда и сюда, а они отнимают корма, да и только. Есть опасение, что опыт его насмарку пойдет...

В бараке зашумели. Многие возмущались открыто. Впрочем, нашлись сторонники и Цеденова. Но большинство поддерживало Нарана.

Бакур лежал не шевелясь. Никто, к счастью, здесь не знал, что он сын Нарана. Отец — родной, добросердечный — во весь рост встал перед глазами Бакура. Только сейчас, здесь, в прокуренном общежитии, Бакур понял по-настоящему, что, в сущности, предал отца, бросил его в трудную, может быть, самую трудную пору его жизни.

Что фронт! Там все просто. По одну сторону враг, по другую свои. Между ними ничейная земля. Фашисты стреляют, и мы воюем. Они в атаку, а мы того и ждали. Ура! Рукопашная. Тут уж, фашист, держись. А главное, враг-то известен и по обличию, и по оружию, и по форме. А у отца теперь туман, мгла. Кто он, Цеденов, друг или враг? По советской должности своей вроде друг, во всяком случае, свой человек.

А по действиям? Видишь, как незнакомый человек подметил: «Тихая сапа!» Вот и надо бы теперь поддержать старика. А он, Бакур, вдали от родного очага возит опостылевший камыш.

Бакур не мог лежать. Встал, сунул ноги в кирзовые сапоги, вышел якобы проверить машину. Машина стояла на месте. Кто ее тронет? Ребятишек тут нет. При этом Бакур с необычайной ясностью вспомнил Кевлюна и Наташку. И что вспомнил? Смешно сказать! Как он играл с ними в альчики. Посреди комнаты, на полу, был начертан круг. В центре выстроили шесть альчиков — по два от каждого игрока. Каждый имел по два битка. Первым бил Бакур. Ему, конечно, ничего не стоило сбить альчики, но он умышленно бросил биток мимо, а чтобы было естественнее, начал ворчать из-за промаха. Очередь Кевлюна. Он выставил левую ногу вперед. Согнул колено, уперся левым локтем в него. Прищурил левый глаз, а в правой руке — биток. Раз!.. Перелет. Альчики на месте. Била Наташка. Она торопилась, нервничала. Прицелится, опустит руку, снова прицелится. Наконец бросила и выбила один альчик. Как она радовалась, что обыграла и отца, и брата!

И вдруг Бакура обожгла мысль, ранее почему-то не приходившая в голову: что думают дети об его отсутствии? Конечно, бабушка объяснила им, что отец в командировке на дальнем озере. Но разве они не задумаются, почему раньше папа не уезжал так надолго? И разве можно обмануть чуткие детские сердца? Это мы, взрослые, думаем наивно, что дети — несмышленыши, ничего не

замечают, ничего не понимают. Чепуха все это! Отлично они разбираются в настроениях старших. А если не расспрашивают, то или боятся, или не хотят расспросами расстраивать. Как же он, Бакур, мог забыть о милых сердцу ребятах? Отец, ребята, Дулахан...

Бакур взглянул на небо. Вызвездило. Звезды мерцали, переливались, словно шевелились. И все происшествие, из-за которого он очутился так далеко от семьи, вдруг показалось ему никчемным, не стоящим раздумий, бессонных ночей. Да, он, Бакур, неправ! Да, Иван поступил как настоящий человек! Надо это признать прямо, не таясь, — с сердца спадет тяжесть, и снова все будет просто и хорошо.

Поеживаясь, он вернулся в общежитие, лег на скрипучий топчан, натянул одеяло до подбородка, закрыл глаза. Он знал, что не уснет всю длинную зимнюю ночь. И еще знал, что если не завтра, то послезавтра отпросится навестить отца.

БУРАН

Долго стояла мутная, сумрачная погода. Скот держали на базу. Ворота завязали веревками.

К ночи Наран велел:

— Анджа, пойди-ка проверь скот еще раз. Особенно молодняк!

Анджа молча сделал два круга по базу, прошелся с угла на угол, потом доложил старику:

— По-моему, нет красной телочки от лысой коровы с острыми рогами.

— Должна быть! — сказал Наран. — Я ее видел, когда проверял скот. Посмотри еще разок.

Анджа пошел проверять. Наран учил молодого пастуха знать каждое животное «в лицо».

Вернулся юноша еще более озабоченным.

— Нет ее, дядя Наран!

— Проверь, нет ли на сеновале?

Сеновал был недалеко от база. Анджа пошел туда и, обнаружив там телку, пригнал ее. Успокоившись, старый и молодой гуртоправы вошли в дом. Как хорошо Улюмджи натопил! Гуртоправы разделись, если за стол. Ужин удался на славу. И джомбо не хуже ужина.

Улюмджи стал готовиться к ночной вахте: надел фуфайку, полушубок, а сверху еще брезентовый плащ. Уже готовый к выходу, закурил.

Наран заметил:

— При заходе солнце имело три круга. Как бы не поднялся буран. Если запуржит, дай нам знать. Телят надо загнать в сарай. Что бы ни случилось — первая дума о телятах...

Улюмджи выглянул в окно.

— Что вы, дядя Наран! Вызвездило. Совсем ясно.

Наран упорствовал:

— Зима не весна! Зимние ночи изменчивы.

Улюмджи ушел. Наран разделся, лег и скоро уснул. Анджа подсел к лампе и раскрыл учебник. После целого дня на воздухе читать учебник было трудно, клонило ко сну. Клюнув раза два носом книгу, он выскочил и умылся снегом. Сонливость как рукой сняло. Уроки оказались не очень трудными. Захлопнув учебник, он разделся, лег, и теплый, пушистый сон унес его в страну видений.

Улюмджи бодрствовал, слушая, как коровы и телята жуют свою бесконечную жвачку. Лишь некоторые нет-нет да и застонут во сне, как люди.

От нечего делать Улюмджи проверил на воротах веревку — завязана на совесть. Сходил к сеновалу. Ночью, бывает прибредают чужие коровы. Нет, все спокойно. Сложил губы трубочкой, засвистел недавно услышанную, по радио песенку. Повторил ее два-три раза. Надоело... И... обмер! Небо изменилось, словно кто-то огромный, могучий помешал его широкой лопатой. Все перемешалось: звезды, облака, чернота. Небо словно кричало беззвучным криком. Ему померещилось, что и земля под ним дрожит. Что за морока? С запада потянул сильный ветер. Остророгая темно-красная корова встала, вобрала ноздрями воздух и тревожно замычала.

— Ну, ты, накличешь еще беду! — строго сказал Улюмджи и, подняв комок смерзшегося навоза, бросил в корову. Она махнула хвостом и перестала мычать.

На глазах изумленного Улюмджи небо заволоклось белесой пеленой. Повалил мокрый, липкий снег. Из такого ребята лепят снежных баб. Но — странное дело! — хлопья снега не ложились на землю. Ветер подхватывал их на лету, кружил, поднимал, образуя огромные белые столбы. Эти столбы разрастались, сближались, превращались в один огромный, невиданных размеров столб. Невольно вспомнился рассказ Нарана о снежных смерчах на Памире. А ветер превратился в ураган. И все это случилось мгновенно. Улюмджи еле устоял на ногах, схватясь за ворота. Кругом бушевало снежное крошево.

«Надо открыть двери сарая и загнать телят!» — деловито подумал Улюмджи и двинулся к сараю. Но не тут-то было! Ветер легко поднимал его и с силой бросал наземь. Пастух не дошел, а дополз до сарая. Дверь была наглухо завалена большим сугробом. Пожалуй, одному не справиться. Рука нащупала лопату. «Попробую один», — самонадеянно подумал Улюмджи и схватил лопату. Ветер сбил его с ног. Поднявшись на колени, он стал яростно расчищать сугроб.

В это время проснулся Наран. Ему снился страшный сон. В голой степи его окружила стая красных волков. Конь поджал уши, а Наран, поняв, что спасение в коне, ударил его по крупу. Началась скачка. В ушах свистел и выл ветер. нет, не ветер, а ураган, смерч, нечто невообразимое. Этот шум и разбудил его.

По-военному быстро одевшись, он растолкал Анджу. Пошарив спички, зажег лампу. Вместе они попытались открыть дверь. Она не поддавалась.

— Пропадут телята! — закричал Наран. — Погибнет молодняк! Пропадет наш опыт!..

Стало ясно, что дверь завалило снаружи снегом. Двинули плечами. Дверь чуть дрогнула, образовалась щель. Расширяя ее, проскользнул наружу худощавый Анджа. Отгребая снег руками и ногами, он открыл наконец дверь.

Наран тем временем отыскал в сенях волосяной аркан. Один конец его привязал за дверной столб и предупредил Анджу:

— Начался ураган! Держись за аркан, а то унесет.

Старик пошел первым, разматывая аркан. За ним, как слепой, двигался Анджа. То и дело они проваливались в сугробы. Не верилось, что в такое короткое время успело нанести столько снега. Над ними поднималось и падало, крутилось, ломалось, свистело, грохотало что-то белое, не похожее ни на снег, ни на пену. Двигались они медленно. Следы их тут же заносило. Кое-как добрались до ворот и перескочили их. Конец волосяного аркана Наран закрепил на столбе у ворот. И на базу было не легче. Снежный вихрь носился осатанело, круша все на своем пути. В двух метрах ничего не было видно.

Ползком, на ощупь они подобрались к двери сарая. И тут увидели белого, словно слепленного из снега, человека, вернее, человеческое подобие.

— Улюмджи, это ты?! —изо всех сил крикнул Наран.

Я-а-а! — послышалось будто издалека, хотя он был рядом.

— Что же нас не разбудил?

— Некогда... было...

— Спасай в первую очередь телят! — изо всех сил крикнул Наран.

Все трое поняли: теперь не до разговоров. Улюмджи лопатой, а Анджа и Наран руками стали расчищать снег.

— Мартышкин... труд!..— крикнул Наран.

И верно, это был напрасный, неумный труд. Стоило им образовать в сугробе маленькую пещерку, как ее тут же забивал снег. Все трое задыхались, но видимого результата работы не было. Впору отчаяться. Но человек на то и человек, чтобы упорно идти к цели.

Заслоняя собой часть сугроба от ветра, гуртоправы отвоевали от снега одну половину двустворчатой двери и открыли ее. Стали загонять телят. Но коровы оттесняли их. Загнать скот оказалось делом неимоверно трудным.

Наран первым понял причину: телята и коровы ослепли. Мокрый снег, оседая на веках, слеплял их, а стужа схватывала, образуя лед. Ледяной панцирь закрывал глаза молодым п старым животным. Они бегали, обезумев от страха, и не попадали в дверь сарая. Невероятными усилиями смертельно уставшие гуртоправы загнали в сарай часть животных. Остальные коровы и телята жались к стенкам база, и их засыпал снег. Нарану стало ясно: если скот останется без движения у стенок, он окажется под снегом и наверняка пропадет, и в первую очередь погибнут телята. Надо хотя бы гонять ослепленных животных, заставить их двигаться.

— Отделяй телят, отгоняй их от стен! - прокричал команду Наран.

Гуртоправы втроем, вооружившись вилами и лопатами, стали отгонять скот от стенок.

Они кричали, отбирая телят, коровы мычали, ураган свистел. Снегу наваливало все больше, и скоро сугробы сравнялись со стенками база. Несколько обезумевших коров перескочили через стену и мгновенно растворились в белой мгле. Теперь гуртоправы без слов понимали друг друга. Они стали отгонять и сталкивать телят с сугробов к центру база, чтобы не пустить их в степь. Если коровы в степи и выдержат, то молодняк наверняка погибнет.

Наран лопатой стал разрушать сугроб, по которому коровы рвались через стены в степь. Улюмджи и Анджа беспощадно колотили лопатами животных по рогам, по мордам, по спинам, оттесняя их к центру база.

Коровы мотали головами, на время отступали, а затем с непонятным упорством рвались в степь, увлекая и телят.

Наран первым заметил, что начало светать: стало видно на три-четыре метра. А буран и не думал униматься. Он свирепствовал, словно черпая силу в своей дикой ярости. Стихия ломала людей, но люди не отступали, не смирялись перед ней.

Всем троим казалось, что ни полушубков, ин брезентовых плащей на них нет, тело пронизывал иглисто-колючий ветер, а руки и ноги одеревенели и перестали чувствовать стужу. Наран и его помощники двигались уже как автоматы, боясь остановиться. Остановишься и сразу охватит адская усталость, слабость, безразличие... Нарана на сугробе сменил Улюмджи. Он был страшен, в белом снежном саване, с лопатой в руках. Парень работал, как заводной механизм, хотя и ничего не видел, ослепленный снегом. Лопата мелькала, подхватывала и бросала снег, и казалось, не Улюмджи движет лопатой, а наделенная волшебством лопата заставляет его производить одинаковые движения. Одно и то же, одно и то же... Десять, двадцать, сто раз!..

На сто первый не хватило сил. Улюмджи как-то сильнее обычного всадил в снег лопату, покачнулся и упал. Наран бросился к нему и потащил в сарай. Анджа, как молодой барс, одним прыжком достиг места, оставленного Улюмджи, и с яростью заработал лопатой. Так на фронте живой солдат занимает место скошенного пулей однополчанина.

Нарану удалось оттащить Улюмджи в угол сарая, куда ветер почти не добирался. Старик снял свой полушубок, укрыл помощника, а сам надел брезентовый плащ на фуфайку и выбежал из сарая. Так он и знал! Еще несколько коров убежало в степь. Работу продолжали вдвоем: Анджа сбрасывал снег, Наран отгонял телят от стен, от сугроба, ведущего в степь.

Словно поняв, где их спасение, молодые телочки и бычки забились по углам.

Буран прекратился так же внезапно, как и начался. Снежные облака стали рассеиваться, и — бывает же такое счастье! — сквозь облачную толщу пробилось солнце. Как ослепительно все вокруг забелело: сарай, дом, баз!

Анджа закричал от радости. Старик и юноша удивленно смотрели друг на друга. Наран стряхнул снег с лица, выпрямился. Его движения в точности повторил Анджа. Снова встретились старые и молодые глаза. Они говорили: «А все- таки мы победили!»

Но до победы было еще далеко. Оба они это тотчас поняли. Не сговариваясь, бросились в сарай и понесли на руках бесчувственного Улюмджи. Снегу было по пояс. Несли, падали, роняли товарища, поднимались, снова несли... Без аркана, протянутого от крыльца до ворот, не дошли бы. Выручил аркан! Дом был завален снегом. Откопали. Вошли. В доме тепло. Улюмджи раздели, уложили в кровать, укрыли тулупом. С трудом разжали рот, влили немного водки. Наскоро согрели чай, жадно выпили, по пиале. Заспешили к скоту. Наран соображал: скот обессилел, надо его немедленно кормить, а то не миновать беды. Но как добыть корм? Разве докопаешься сейчас до силоса? Разве сено издалека на быках через такие сугробы провезешь? Где-то в глубине сознания возник образ Бакура. Будь он настоящим, любящим сыном, о каком мечталось Нарану, был бы он здесь, вблизи, первым помощником. Пастухи из последних сил загнали телят в сарай. Трех наиболее пострадавших маленьких телочек внесли в дом.

Наран осмотрел поредевший гурт и понял, что, если бы сено, силос или комбикорм были здесь сейчас в изобилии, все равно животные не могли бы есть. Глаза, рты их облеплены снегом, а снег обледенел, на спине каждой коровы снежный горб с ледяной коркой. Под подбородками висят большие куски льда. Даже коровьи хвосты стали непомерно толстыми от снега и напоминали конские, а коров можно было принять за яков, только цветом не темно-бурых, а белых.

Наран позвал Анджу, коротко рассказал, как выручать животных. И не только сказал: взяв вилы, ловким, почти молниеносным ударом разбил лед на глазах одной коровы, а вторым ударом сбил его с челюстей. Так он переходил от коровы к корове. Животным было, конечно, больно. Они мотали головами, брыкались, но зато стали видеть, могли есть.

Анджа тоже взял вилы и стал, впервые в жизни, делать то, что делал дядя Наран, в точности повторяя его движения. К радости старика, молодой помощник бил умело, ловко и безошибочно. Славный парень! Грянь завтра война, он, пожалуй, будет сражаться не хуже, а может, и лучше самого Нарана.

«Милый ты мой! — думал Наран. Недооценивал я тебя.

А вот пришла беда, и вижу — стоящий ты человек. И Улюмджи оказался человеком, на которого можно положиться. Разные характеры у парней, а каждый по-своему хорош. Чем больше разных характеров, тем пышнее цветет степь. Родина, вся земля...»

Когда Наран убедился, что гурт в верных руках и все телята спасены, он заторопился. Вывел из стойла гнедуху, оседлал ее и выбрался с база. Конь увяз в снегу по брюхо.

«Поехал искать пропавших коров», — догадался Анджа. Так и было. Наран прикинул: ветер с запада — значит, скот непременно подался на восток. В степи снегу было еще больше, чем на базу. Конь еле двигался. Неподалеку от замерзшего и засыпанного снегом пруда Наран разглядел три белых холма. «Уж не коровы ли?» встревожился гуртоправ и направил туда гнедуху. Когда он с трудом разгреб снег предусмотрительно захваченной маленькой саперной лопаткой, то обнаружил трех коров. Они шли, видно, по льду, поскользнулись, упали, и их засыпало. В этом было их спасение, иначе они замерзли бы на леденящем ветру. Но коровы еле дышали. Теплого пойла бы им, силоса, сена! А где возьмешь? Наран снял малахай, огляделся. Поодаль из-под снега торчали кончики рогов. И тут погибающие коровы! Рванулся к ним, не щадя сил, стал откапывать. Вот одна — теплая, тяжело дышащая, вот другая, третья, четвертая!.. Коровы поднимались с трудом. Ноги у них дрожали. Но стоило только Нарану поднять их, как они принялись бодаться. Это не испугало, а обрадовало гуртоправа. «Вот она, степная порода! Живучая!» А дальше бурели камыши. Вернее, верхушки их. Наран догадался: большинство бежавших коров нашли приют в камышах. Им посчастливилось укрыться там, и это помогло коровам не только спастись от бурана, сбивавшего с ног, но и подкрепиться подмороженным камышом.

Наран был счастлив, что собрал всех убежавших коров. Он погнал их на баз, мучительно думая, чем накормить иззябший, изголодавшийся гурт. Попадись

ему сейчас навстречу Павлов или Цеденов, он бы поговорил с ними по-фронтовому...

Но где там! Павлов, конечно, прикладывается к фляжке, а Цеденов покуривает у печки...

Долго-долго гнал едва живых коров старый гуртоправ к стоянке. А когда стоянка наконец показалась, на сердце его потеплело. Он увидел: Анджа запрягает быков в сани — решил ехать за сеном, спасать гурт.

«Вырастил смену! — радостно подумал старик. —Анджа уже хороший животновод. С огоньком, с выдумкой. Знает, как трудно привезти сейчас сено. Но никакие трудности его не страшат»...

Додумать не удалось. В тихой после бушевавшего урагана степи где-то совсем близко настойчиво тарахтел трактор.

Наран прислушался. Кто бы это мог быть? Да и снегу в степи навалило невпроворот. Может быть, ему послышалось? Он загнал коров и выехал на пригорок.

То, что он увидел, переполнило его сердце такой радостью и гордостью, что теплый комок подкатил к горлу! Прямо к базу шел напролом трактор, таща прицепные сани, груженные темно-зеленым, сохранившим летние запахи сеном. И вел трактор — нет, Наран не мог ошибиться! — вел трактор Бакур, его сын, его мальчик!

Старик не знал, чему радоваться больше: спасению телят в тяжелый час испытаний, тому, что сохранен гурт, или Бакуру, который, это теперь ясно, понял свои ошибки, осудил их и едет к отцу, чтобы показать, что он настоящий сын, подлинный советский человек, не потерявший совесть.

Наран погнал коня навстречу. Бакур издали узнал его, но ничем не выразил бушевавшей в нем радости. Только трактор, как живое существо, рванулся сильнее, раздвигая железной грудью сугробы...

От гнедухи валил пар, по Наран не замечал этого. Отцовская радость и гордость, а не кнут гнали коня. Вот он поравнялся с трактором.

— Бакур! — закричал, задыхаясь, старик. Как ты догадался, что сейчас нам сено дороже золота?!

— Разве я не сын Нарана? — смущенно пробормотал Бакур и уже деловито посоветовал: — Открыл бы ворота...

Наран круто повернул коня и увидел, что Анджа понял все без лишних слов, успел распрячь быков и отворяет ворота трактору.

Втроем — Наран, Бакур и Анджа — спешно разгрузили прицепные сани, и скот жадно набросился на корм.

Только тут Бакур заметил отсутствие Улюмджи.

— Почему вас только двое?

— Улюмджи заболел, — объяснил Анджа.

Трое мужчин вошли в дом, где лежал четвертый — весь красный от жара, бессильный, как ребенок. Глаза его были открыты, но в них не было ни мысли, ни желаний. Он был равнодушен ко всему.

— Ты уже проснулся?.. — обрадовался было Наран.

Улюмджи молчал. Буранная ночь не прошла для нею благополучно.

Гуртоправ склонился над ним.

— Что-нибудь болит?

Ничего не болит, непривычно слабым голосом ответил Улюмджи. — Только двигаться не могу. Тяжесть... Словно сугроб придавил.

Закрыв глаза, Улюмджи отдохнул немного, потом неожиданно спросил:

— Телята целы? Коров нашли?

Цел скот, цел! — быстро заговорил Наран. Ты держался молодцом! Бакур привез сено. Все в порядке!

По всей видимости, Бакур, еще не уверенный в добром приеме, обрадованно крикнул:

— Слышу стрекот вертолета!

Все, кроме Улюмджи, выскочили из дому. Над стоянкой кружил вертолет, издали разительно похожий на стрекозу.

Анджа в юношеском восторге снял малахай и подбросил его вверх.

Вертолет опустился недалеко от стоянки. Меся снег ногами, к дому пробирались Иван и Дулахан.

Наран выскочил без полушубка, в одной фуфайке, без шапки.

Дулахан порывисто обняла свекра. Старик стоял и не замечал, что по смуглым, дубленным степными ветрами щекам его текут слезы. Если бы ему сказали сейчас об этом, он, конечно, удивился бы и проворчал: «Кто плачет? С чего это вы взяли?»

— Не захворали, отец? — забеспокоилась Дулахан, чувствуя на себе взгляд Бакура.

— Нет, дочка, я совершенно здоров. Вот с Улюмджи, кажется, неважно.

Вошли в дом. Дулахан сбросила полушубок и осталась в белом больничном халате. Она сразу занялась Улюмджи: поставила градусник, нащупала пульс, приложила прохладную ладонь к пылающему лбу.

— Его придется отправить в больницу!

Иван с удовольствием разглядывал разрумянившегося Анджу.

— Ну как дела, животновод?

— Все хорошо! Ни одного теленка не потеряли. Вот корма от стоянки далековато.

— Ты принял, Анджа, боевое крещение. Теперь ты настоящий животновод, достойный преемник бригадира Нарана Саранговича!

— Только у этого животновода щеки отморожены! — заметила Дулахан.

Анджа смущенно потрогал щеки.

— Не болит нигде.

Наран молча раскрыл шкафчик-аптечку и вынул оттуда баночку с каким-то жиром.

— Этого, дочка, в аптеках нет, — подмигнул он. — Но действует лучше аптечных лекарств.

После горячего джомбо, который все пили с наслаждением, Улюмджи укутали и перенесли в вертолет.

Дулахан улетала с больным. Она выразительно посмотрела на мужа, с которым не виделась около двух месяцев.

Но Бакур твердо сказал:

— Не могу, милая Дулахан, оставить сейчас отца — И, резко обернувшись к Ивану, продолжал; — Мы жили с тобой как братья. Я виноват перед своей женой и перед тобой. Если можешь, прости меня... И вот моя рука!

Иван крепко пожал руку Бакуру. Дулахан отвернулась, чтобы скрыть слезы.

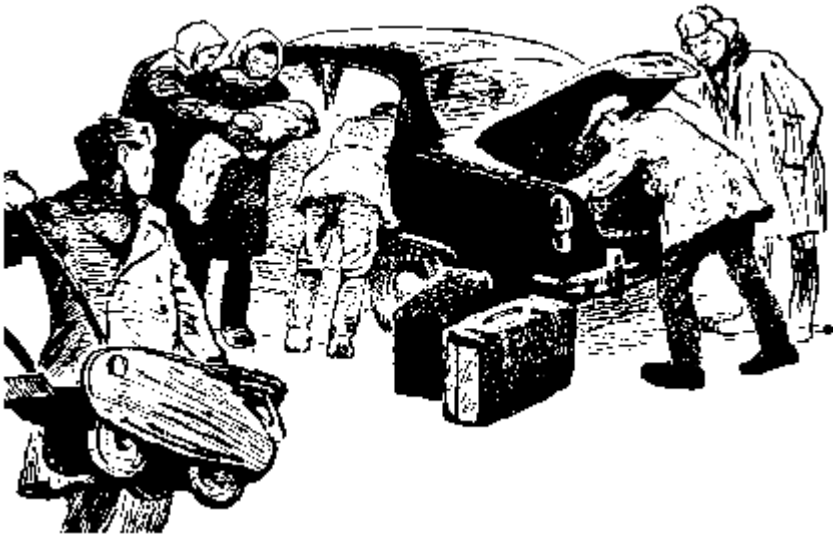
Старый гуртоправ сиял. Он вместе с Бакуром проводил Ивана до вертолета. Потом втроем — старый Наран, Анджа и Бакур — еще раз накормили скот.

Только поздно вечером старик снял валенки.

— Отец, у тебя на левой ноге пальцы синие! Ты обморозил ногу! — закричал Бакур.

Наран еще раз открыл свою аптечку, вынул ту же баночку с мазью, которой смазывал щеки Анджи; сыну сказал, улыбаясь:

— Заживет, как на собаке!



БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Степь, моя калмыцкая степь! Как же ты красива весной! Свежая, сочная трава едва колышется на легком ветре, а кажется, видишь волны необозримого зеленого моря! Но это обман зрения, будто степь сплошь изумрудно-зеленая. Вглядитесь — и вы признаете, что она подобна многоцветному ковру. То тут, то там пылают жарко-красные тюльпаны. Есть тюльпаны и других расцветок — белые, желтые, лиловые.

Свистят суслики. Льют серебряные трели жаворонки. Время от времени по-весеннему волнующе курлычут журавли. На заре они пляшут, справляя свои птичьи свадьбы. А воздух такой, что и к пожилым возвращается молодость.

На холме пасется красномастый гурт. Коровы в эту пору блаженствуют. Вон поодаль красавица корова: масть красная, как молодая кровь, грудь широкая, туловище длинное. Шершавым языком она берет зеленую траву, наматывает вокруг языка и отсекает острыми зубами. Капает с ее губ зеленый травяной сок.

Сочная трава, сладкий воздух, горячее целебное солнце — коровий курорт! Животные каждый час наверстывают потерянное в дни зимних лишений.

Радует глаз молодняк. Перезимовавшие телята резвятся в степи — сытые, шелковистые, с прорезавшимися рожками.

А новый приплод — тонконогие, маленькие телята то и дело тычутся мордочками под брюхо коровам, прося молока.

Сладкое, жирное, вкусное молоко в это время года! Словно к нему подмешивают мед. Большой приплод в этом году дал гурт. Радуются сердца пастухов.

За гуртом следят двое: Наран и Анджа. Они о чем-то неторопливо беседуют. Впрочем, говорит больше старший, а младший почтительно слушает, время от времени вставляя слово-два.

— Заметил я. Анджа, что в бухгалтерии начисляют нам за взрослых коров, а за молодняк — нет. Заглянул в кабинет старшего зоотехника — пусто. Пошел в приемную директора. Секретаря тоже нет, а дверь приоткрыта. Сижу. Слышу разговор.

Старший зоотехник, зять мой, говорит:

«Удался опыт Нарана! И сам слежу, и другие глаз не спускают. Да что тут глаза! Весы — дело верное. Взвешивали молодняк всю зиму, каждый месяц. И каждый месяц — большой привес. В морозы, небывалое дело!..»

Документы я, Анджа, регулярно сдаю в бухгалтерию. Но там за привес пока не начислили ни копейки. Незаконно это. Спрашиваю бухгалтера: «В чем дело?» Говорит: «Нет разрешения директора». Спрашиваю директора: «Как это понять, товарищ Цеденов?»

Директор глуховато отзывается:

«А вы знаете, во сколько обойдутся начисления за привес? Не малые сотни, а многие тысячи...»

Тут вступается старший зоотехник:

«По закону мы должны платить. Ленин учил нас, и партия разъясняет: надо трудовой энтузиазм сочетать с материальной заинтересованностью».

Цеденов тянет:

«Надо подождать до осени. Может быть, в других телячьих бригадах весной и летом наверстают упущенное и к осени их телята сравняют вес с телятами нарановского сдвоенного гурта?»

Леонов смеется:

«У Нарана бычки весят не менее, чем по двести пятьдесят килограммов, а у других в редком случае дотягивают, до ста семидесяти, а то и меньше. Как же они догонят нарановских. Попытка с негодными средствами! Надо другие бригады переводить на Нарановский метод».

Цеденов крякает и виляет туда-сюда:

«Это дело новое. Не знаем, как оплачивать. Пока воздержимся...»

Вышел я, махнув рукой. А Леонов грозит:

«Учтите, товарищ Цеденов! Я об этом подробно напишу в Министерство сельского хозяйства. Это дело республиканского значения!»

Слышу, Цеденов встает, отодвигает дубовое кресло и заявляет:

«А договор с Нараном вашим есть? Ага! Нет договора! А коли нет, то и денег нет. Денежки счет любят. Пусть он, этот Наран, подает хоть в сто судов — везде ему, как рвачу, откажут!»

— Это он вас рвачом обозвал, дядя Наран?! — восклицает Анджа.

— А кого же? Конечно, меня! А я трудовой человек, фронтовик, да и у вас, мальцов, моя работа на виду. Не стерпело сердце. Снова стучусь.

«Войдите!»

В кабинете сразу, понимаешь, молчание.

— И Леонов молчит? — спросил Анджа.

— Чудак человек! Леонов мне зятем приходится. Негоже ему за меня при мне же ходатайствовать. Да и не нужно мне заступничество.

— Ну и что же вы сказали?

— Вот что сказал:

«Беседу вашу я слышал, хотя и не подслушивал. Не один я вся контора слышала. Очень громко вы оба кричали. Договора с нами, директор, у меня действительно нет. И в суд я идти не собираюсь, не из-за начетов и премии я старался. Важно что? Я в бригада моя доказали, что и зимой можно получать привес и увеличивать количество животноводческой товарной продукции. Давным-давно кто-то создал в степи вредную легенду, будто зимой телята обязательно худеют, теряют вес, а о привесе и мечтать нельзя. Мы, я и моя бригада, эту вредную легенду опровергли живым делом. Этим самым зимним привесом! II опыт наш стал известен во многих совхозах. Из восьми совхозов уже приезжали перенимать опыт. Приедут и из других. И не заглушить вам этого дела, директор! Ни вам, ни вашему краснощекому дружку Павлову! Заплатите вы или не заплатите мне плакать не придется! А только поеду я в Элисту к министру сельского хозяйства и все ему выложу. Не из-за себя, не из-за славы, а для пользы народного дела».

Тут Салькан взвился, как мол одой жеребенок.

«Погодите, старина, погодите! Зачем меня на оговорке ловите? Кто сказал, что вам денег не дадут? Но я не могу платить с бухты-барахты. У меня смета, баланс... Я должен запросить министерство. Вот! У меня уже и докладная готова...»

Он еще что-то брехал, но я повернулся к нему спиной и ушел. Конечно, это не совсем вежливо, но с Сальканом так полезнее. Скорее поймет, что к чему...

Наран умолк, но, видя, что Анджа интересуется, будут ли платить деньги за привес, добавил:

— А вы с Улюмджи не беспокоитесь. Ваше от нас не уйдет! Помнишь, я отлучался на два дня? Был я тогда в Элисте, говорил с министром сельского хозяйства, тот возмутился и пообещал намылить Салькану Цеденову холку.

Старик отвернулся. И Анджа понял, что он больше не хочет касаться этой темы.

Они не спеша начали спускаться с холма — старый и молодой хозяева степи. Наран еще раз оглядел гурт, где резвилось небывалое количество телят. Как любил он их, крутолобых, резвых, с полированными копытцами!

Старик сорвал стебель и спросил:

— Знаешь, что это за трава?

Анджа смутился,

— Ну вот, не знаешь. А должен знать. Это онгок [1]. Растение живет всего неделю. Когда кони едят его, они поправляются не по дням, а по часам. Пока оно растет, надо им пользоваться, не теряя ни минуты.

Наран нагнулся и сорвал низкорослое растение.

— А это что?

— И этого не знаю, дядя Наран.

— Это трава эрвенг, или чебрец. Чуешь, как она сильно пахнет?..

Но что это? Лицо Нарана вдруг озарилось улыбкой. Он увидел, что с юга степи скачут два всадника. Чего скрывать? Любит он верховую езду. Везде теперь машины да машины. Только на скачках изредка увидишь настоящую верховую езду. Он не глазами, а сердцем угадал, что скачут его внуки Наташка и Кевлюн. С малых лет приучил их ездить верхом и часто повторял слова, с детства запавшие ему в душу: «Калмык падает с коня только тогда, когда падает сам конь».

Скачут внуки все ближе, ближе...

В степи Наран видел и механизаторов, и водителей машин, и даже летчиков, а вот его внуки при случае смогут принять участие и в степных скачках, без которых не обходится ни один хороший калмыцкий праздник.

Наран залюбовался раскрасневшейся Наташкой, сидящей в седле, как заправский конник.

Кевлюн приосанился, едва приметно припадая на правую сторону. Дедова привычка!

Кругом солнце, много солнца. И на душе Нарана тоже солнечно. Разве не приятно видеть деду, как его малолетние внуки ловко повернули гурт к водопою?!

Коровы и телята пили воду, пили долго, вдоволь, досыта.

А когда дед и внуки пригнали скот на стоянку, там ждали их гости: директор совхоза Цеденов, управляющий фермой Павлов, старший зоотехник Леонов и кассир со смешной козлиной бородкой.

[1] Онгок — разновидность прутняка.

Иван подал Нарану бумагу. Глаза гуртоправа невольно остановились на большой гербовой министерской печати.

Как ни волынил Салькан Цеденов, как ни старался Павлов отвертеться от выплаты за привес телят, Министерство сельского хозяйства дало указание выплатить гуртоправам все, что полагалось. Более того, приказом министра сельского хозяйства республики бригада Нарана Сарангова получила благодарность и выдвигалась в число участников Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства.

Напыжась, как индюк, Цеденов не сказал, а изрек:

Вот, Наран... э... Сарангович... Я вас всегда поддерживал! И с колодцем, и с телятами! Решил я на базе вашей бригады... э... организовать школу по выращиванию молодняка без отделения его от гурта. Чтобы, значит, опыт ваш распространить на всю Калмыкию...

От Нарана не укрылось, как едва приметно улыбнулся Иван: старшему зоотехнику было известно, что такую школу приказал организовать министр. Цеденов зря пыжился и приписывал себе почин в этом деле.

Директор совхоза протянул Нарану приказ, под которым стояла размашистая подпись: «Цеденов».

Наран передал бумагу Улюмджи и Андже.

— Читайте, мои добрые помощники!

— Дядя Наран, теперь вас наградят Золотой Звездой! — с волнением сказал Улюмджи.

— Не знаю, чем нас наградят, — ответил Наран. — Вы ведь знаете: работали мы втроем, всей бригадой.

Павлов стоял и ждал, что Наран, чего доброго, сведет с ним счеты. Павлов не удивился бы этому. Будь он на месте Нарана, он, вероятно, отомстил бы... Задним числом Павлов раскаивался, что пытался отобрать у бригады корма и не только не помогал, а и мешал работать по-настоящему передовой, как оказалось, бригаде.

Но неспроста в Калмыкии звали гуртоправа Наран—золотое сердце. Он был незлобив, незлопамятен.

Павлов ушам не поверил, когда Наран, обращаясь к Цеденову, сказал:

— Все мы делаем одно общее дело. Вот, к примеру, товарищ Павлов. Ведь его стараниями все гурты фермы имели на зиму достаточно корма.

И без того красное лицо Павлова приняло цвет сизого баклажана. «Уж не издевается ли Наран?» — с опаской поежился управляющий. Но Наран не издевался. «Без споров, даже без ссор крупное дело не обходится, — думал он. Павлов получил хороший урок. Он теперь понимает, что жизнь положила его на обе лопатки. А лежачих не бьют...»

Цеденов отвел Нарана в сторону:

— Наран... э... Сарангович. У меня к вам большая просьба. Вы будете теперь руководить республиканской школой передачи своего опыта. А ведь в нашем, можно сказать, родном совхозе «Степь» только одна ваша бригада работает по-новому. Неладно получается. Резче скажу: погано получается! Давайте помогите все наши бригады выровнять по вашей. Кто будет... э... тормозить, брыкаться — сразу ко мне. Я... подберу недоуздок.

Наран усмехнулся.

— Это можно... То есть, конечно, не в смысле недоуздка, а насчет передачи опыта.

А в это время козлобородый кассир уже выдавал Улюмджи и Андже премиальные за привес телят.

Суммы, в которых они расписались в ведомостях, ошеломили юношей. Никогда еще в их руках не было такого богатства!

Анджа положил ладонь на пачку кредиток и совсем по-детски улыбался.

Перехватив эту ясную улыбку, Наран спросил:

— Что же ты, Анджа, будешь делать с деньгами?

— Как что? — удивился Анджа. Мотоцикл куплю! В вечернюю школу с ветерком буду ездии.. Книг куплю! Своя библиотека будет.

Улюмджи, слюнявя палец, аккуратно считал получку, разглядывая на свет каждую кредитку. Казалось, самый процесс проверки правильности выданной суммы доставлял ему неизъяснимое наслаждение.

У него Наран не стал спрашивать, как он поступит с деньгами. У Улюмджи давным-давно каждая копейка на учете. А куда он денет накопленное, он не откроет даже дяде Нарану.

Вскоре Цеденов. Павлов и кассир уехали. Иван задержался у тестя.

— Ребята, — сказал он молодым гуртоправам, — отпустите до завтра дядю Нарана домой. У нас семейный праздник.

Оба парня вскочили.

— Какой может быть разговор?! Пусть едет хоть на два дня...

Иван завел «Волгу» и пригласил тестя.

А у Саглар уже был готов праздничный стол. Она так усердно хлопотала вокруг него, будто ей сбросили добрый десяток лет.

Впервые за эти два с лишним месяца вся большая семья Нарана от мала до велика вместе собралась за столом.

Особенно счастлив был Бакур — выбритый, в новой рубашке с галстуком, в хорошо отутюженном костюме. Он поглядывал на всех: на Дулахан, на ребят, на мать, на сестру. Только на отца и Ивана старался не смотреть — от стыда ли, от смущения ли?.. Он и сам не мог бы определить от чего. Но в нем все пело, все радовало его. Он верил, знал, что ни отец, ни Иван не носят против

него камня за пазухой. Все впереди рисовалось ему светлым и просторным, как весенняя, возрожденная к жизни степь.

За широким окном — там, где вдалеке земля смыкалась с небом, — огненно-вишневый, раскаленный шар заходящего солнца медленно опускался за неуловимую черту горизонта, обещая наутро ясный, безоблачный счастливый день.

К читателям

Отзывы об этой книге просим присылать, по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Нармаев Морхаджи Бамбаевич

Наран-золотое сердце

Повесть.

Ответственный редактор А. М. Соломонов. Художественный редактор Л. Д. Бирюков. Технический редактор И. II. Савенкова. Корректоры Е. Б. Койрукштис и Э. Н. Сизова
Сдано в набор 11/IV 1968 г. Подписано к печати 15/VII 1968 г. Формат 60x84 $^{1}/_{16}$. Печ. л. 8. Усл. печ л. 7,46. Уч.-изд. л. 7. Тираж 50000 экз. ТП 1968 № 420. АО5723.
Цена 33 коп. на бум. м/мел.
Издательство «Детская литература» Москва. М. Черкасский пер., 1. Отпечатано с матриц Ордена Трудового Красного Знамени фабрики «Детская книга» № 1. Москва, фабрикой «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР Ленинград. 2-я Советская, 7. Заказ № 401.